



1989

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

დან რედაქტორს. შოთა, ბიძა, იმისთვის
 ზე ზღვის ნაპირს მისივე დროისთვის
 რა ხარისხი და რა-რამდენად ვერ
 რა ხარისხი ვერა (შოთა) რა-რამდენად
 ხარისხი, ხე სივრცე ვერა ხარისხი
 ხარისხი-ხარისხი რა-რამდენად, ხე სივრცე
 ზე ვერა რა-რამდენად, ხე სივრცე
 ხარისხი, ხე სივრცე ვერა ხარისხი
 ხარისხი ხარისხი რა-რამდენად ხარისხი
 ხარისხი ხარისხი რა-რამდენად ხარისხი
 ხარისხი ხარისხი რა-რამდენად ხარისხი
 ხარისხი ხარისხი რა-რამდენად ხარისხი
 ხარისხი ხარისხი რა-რამდენად ხარისხი
 ხარისხი ხარისხი რა-რამდენად ხარისხი

3 მაისი
 1925 წ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ЛИЯ СТУРУА.** Четыре сонета. Стихи. Перевод Владимира Леоновича . . . 3
- ОТАР ЧХЕИДЗЕ.** Рассказы. Перевод Нодара Тархнишвили 5
- ЭНВЕР НИЖАРАДЗЕ.** Стихи. Перевод Дарьи Гуриной 32
- ТЕИМУРАЗ ДЖАНГУЛАШВИЛИ.** Стихи. Перевод Олега Боброва 37
- КАРЛО ТАБАТАДЗЕ.** Рассказы. Переводы Камиллы Коринтэли, Людмилы Кравченко 38
- ИРАКЛИЙ ЛОМОУРИ.** Рассказы. Перевод Динары Кондахсазовой 105
- ГРИГОЛ ДЖУЛУХИДЗЕ.** Стихи. Перевод Олега Казакова 117
- РАМАЗ КОБИДЗЕ.** Приключения Бакара Андзавели. Роман. Перевод Игоря Калашьяна и Юрия Чейшвили 122

8

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси

Журнал выходит с июня 1957 года

КРИТИКА

СОСО СИГУА. «Похищение луны» — документ эпохи 169

РЕЦЕНЗИИ

ЭТЕРИ ТОПУРИДЗЕ. Нити, которые не рвутся 181

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ.

Два договора с двумя односторонними комментариями 187

«Только одна наука радует меня...» (Письма Г. Церетели к И. Джавахишвили) 205

ПАМЯТИ ДРУГА 224

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 31

* На 1-ой стр. обложки: автограф **Иакоба ГОГЕБАШВИЛИ**, выдающегося грузинского педагога, автора «Дэда-эна» (грузинский учебник «Родная речь»), общественного деятеля, публициста. Его статьи об Абхазии читайте в № 9 «Литературной Грузии».

8

Четыре сонета

СОNET ПРЕДКАМ

В рай — куда? Это к предкам. В распахнутые ворота
Свет ворвется... Зеленое поле, и засияет в траве
Желтизною цыплят влажный сыр молодой — голова
к голове.

И мука на руках у хозяйки. Глянет вполоборота,
Улыбнется бабка Наталья, но работы она не прервет.
Вот и рая разгадка: та же киндза на грядке, та же
терпкость ткемали—
И мелькают прекрасные старые руки Натальи!
Нимб мучнистый над черным платком, бесконечный
крестьянский черед.

А другая бабка моя — Цицишвили — звучного рода:
Золотое шитье, правый бунт, просвещение народа,
И готовность к возмездю, и в альбоме бисер стиха...

Та — к труду, эта — к слову меня приковала. Обе —
К одинокой заветной дороге—все в гору... На взлобье—
Или крест или столб или просто обух мясника.

СОNET МАМЕ

Оставьте меня, пожалуйста, и пока
Не звоните, прошу, оставьте меня в покое!
Поднимается ртуть толчками — до потолка —
Чей это жар? Жмусь горячей щекою

К маминой ледяной руке... Господи, помоги!
Что они там, в темноте, красными шарят огнями?
Мамина жизнь утекает сквозь пальцы мои,
Мама моя на руках у меня... К маме

Рвется младенческое мое существо.
Как она дышит! Дыханье черно! Из него
Черное дерево будто растет... Собираю
Всю свою волю. Жмусь комочком к тебе. И пока
Ты не отдашь мне последнюю капельку молока,
Мама, ты не умрешь — это я умираю...

СОНЕТ ЛАВРОВОМУ ВЕНКУ

Я за все заплатила, мне даром ничто не далось.
Видно, мученик-предок послал мне такие гены:
Чиркну спичкой и вздрогну — вижу пламя геенны,
А на розовом стебле каждый шип словно гвоздь.

Кожей чувствую — вижу, а кожа как после ожога.
Близорукое сердце за собой по земле волоку —
И ни в чем передышки, и так мне и быть на веку
И на грани постоянного срыва и шока.

Близорукость какая-то вещь мне суждена:
Чернотой чревата веселых зубов белизна...
Благо вам, созерцающим мир с лучезарного облака!

Бездны Зверь гложет землю и гложет ее изнутри —
Вот работа поэта — а в лавры твои — посмотри —
В три ряда влетена та колючая проволока.

СОНЕТ О СЛОВЕ

Ты измучено, предано: книга глуха, как застенки.
Ты ликуешь, и не спорит оркестр с полнозвучьем твоей
красоты
Я люблю тебя, вольное слово, взрыв моей немоты!
Заливаешься смехом, слепишь белизною коленок,

Укрываешься в траур... Ты всюду — только не в
словарях.

Так усилием духа над каменной вязью надгробий
Я тебя избавляла от сна в этой холодной утробе:
Вразуми же лукавых потомков, отряхни же свой прах...

Слово.. Слезная алость граната и резкость лимона.
Величавое — Бог и презрительное — маммона.
Вольный волк — начертала бы я на фамильном гербе...

Слово... Господи сил! Твоего только ради глагола
Пусть, как первохристианке, перережут мне горло:
Я тобою жила и служила я только тебе!

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА.



Рассказы

Старая тропа

Он остановился на подходах к небольшому мосту. Обыкновенно здесь останавливались, ждали грузовую машину, рано или поздно она подъезжала, люди забирались в кузов и ехали. Хорошо, если грузовик был свой, их деревни, а нет — не велика беда: остаток дороги не трудно и пешком пройти, по тропкам укоротить путь. Одним словом, останавливались у моста и ждали.

Нынче машин развелось, что мух на помете, каких угодно марок и назначений, даже рейсовый автобус ходил, останавливался у моста, подбирал пассажиров; и навес построили, и газоны разбили; под навесом сколотили лавки, хочешь садиться — садись, хочешь стоять — стой, как угодно; даже автомат для газированной воды привезли, привезли и поставили на случай, если у кого пересохнет в горле, хотя, надо сказать, автомат не работал и, очевидно, никогда не работал, просто привезли и поставили. Пустое, главное — прежде приходилось ждать машину стоя; и он стоял, и другие; и стояла еще ободранная, общипанная ольха. Общипанная-то общипанная, но какую-то тень образовывала и народ укрывался под ней от солнца. Неподдалеку разбросаны были плоские валуны — садись если хочешь.

Он не садился, спешил, будто машина подъедет скорее, когда стоишь.

По ту сторону, за навесом, была прибрежная роща, дальше река, дальше город, точнее, городок. Впереди: сады, огороды, виноградники, пастбища, пашни; горо-

док-то мал был, да прожорлив — теми садами, виноградниками, огородами или пастбищами набивал брюхо; наелся, поднабрался сил и шагнул через реку на эту сторону; выщипал, выел все окрест, подступил к подножью гор, и не стало ни пашен, ни пастбищ, ни виноградников, ни садов, зато появились машины, почти в каждом дворе машина, и по дороге снуют без конца взад-вперед, появляются и исчезают, и снова появляются. И люди собираются на подходах к мосту, собираются и едут, кто в одиночку, кто группами. И его автобус останавливается здесь. Подъехал. Подъехать-то подъехал, но он неожиданно передумал, решил пойти пешком.

Пешком так пешком...

...Они шли пешком... Потом остановились ждать попутную машину. Ждали, ждали; больше некуда, ночь застигнет, — предложила она; пора двигаться. Подъедет машина, нагонит дорогой, а нет — так нет; путник на то и путник, что ходить должен, а не стоять; стоять — время терять, — это она сказала, но о наступлении ночи — ничего. И ему лучше ходить, предпочтительней, и не стал бы он терять времени на ожидание, когда бы ее не встретил. Она стояла и ждала, и он остановился.

Они встретились по чистой случайности и совершенно неожиданно, и встреча смутила обоих — в первых числах августа обыкновенно возвращались домой либо «провалившись» на экзаменах, либо не добрав нужного количества баллов — не суть важно, возвращались и все тут. В те времена это считалось великим стыдом, оттого они и засмущались при встрече. Мерило стыда изменилось, когда изменились окрестности по эту сторону реки. Так оно или иначе, встреча их смутила, поздороваться и то с трудом поздоровались, заговаривать не решались, стояли молча, понутив головы и ждали, ждали, ждали... Можно было подумать земля разверзлась и поглотила все и вся — ни единой машины, ни единой живой души, ничего и никого; только они стояли, не глядя друг на друга, как обиженные, не знали куда себя деть, пока у нее не вырвалось нечто, вроде поговорки, вырвалось невзначай, само по себе.

И сама по себе повела их дорога.

Повела, как вела прежде. Только не та дорога, дру-

гая, городская, широкая, с высокими, одинаковыми домами по обе стороны, автобусами, троллейбусами, такси и просто частными машинами; по ней пешком никто не ходил. В городе он тоже не ходил пешком. По этой дороге — пожалуйста, а по городской — нет. В городе казалось, что идти далеко, устаешь и как будто неловко ходить пешком по городу. Он поднимался в троллейбус — автобус останавливался через остановку, и он боялся сбиться с пути, только троллейбус довозил до известного ему места, — однако в этот раз он подвел: последняя остановка чуть ли не на окраине, остановился, кончился город, а дорога вроде бы не та, не узнал он дороги; небо знакомое, горы знакомые: посмотрит вверх — все знакомо, посмотрит вниз — незнакомо ничего.

Так и здесь.

Прежняя дорога извивалась, шла прямо, сворачивала, поднималась в горку и через горку спускалась вниз, нынешняя вытянулась, как струна; по обе стороны провололочные заграждения, не свернуть ни влево, ни вправо; с пути не сойти, по обе стороны в строгом порядке фруктовые деревья стоят, как в строю: ряд в ряд, ряды за рядами, словом, свернуть с пути, если бы и хотел, никакой возможности и, понятно, запомнится место, где именно свернули.

А ведь свернули.

Дорога круто сворачивала и ее перерезала тропа, урезывала путь. Идти было способней во всех отношениях; путь короче почти наполовину и ходить по земле легче, удобней, проедет машина — они ее опередят. Все ходили по тропам и тропкам. Она не пожелала. Тропинки исчезали, терялись в садах, зарослях кустарника, хлебных полях, потом возникали внезапно у столбовой дороги, некоторое время следовали вдоль или пересекали ее и опять исчезали, плутали среди высоких трав, терялись в жнивье, в распаханых полях, смотря по времени года. Зимой люди шли по снегу друг за дружкой, шаг за шагом. Шли, шли и шли. По ночам обок пути сбивались волки. Она их видела в лунную ночь, в стужу, несметные волчьи стаи. Она не пожелала идти по тропе. Она хотела ехать в машине. Он останавливался, прислушивался, не едет ли, снова шел по дороге, и она

следовала за ним. Солнце было высоко. Высоко и далеко было солнце и уходило все дальше и дальше.

Потом они все же свернули с дороги, но это потом, после...

Может быть проволочные ограждения заканчивались где-нибудь, поблизости — очень может быть, но она вдруг сникла, остановилась и сказала, что поедет автобусом. И поехала. И проволочные ограждения с одной и другой стороны побежали следом; и следом побежали тополя, точь в точь, как фруктовые деревья, выстроившиеся в ряд, ветрозащитная полоса, что ли, подстриженные или остриженные на один ряд, одинаково равномерно. Естественно, защищались диссертации на соискание ученой степени, диссертации о ветрозащитных полосах в том числе; одни отдавали предпочтение хвойным, другие — лиственным, отбирали породы — какая какой лучше, спорили о растениях между собой — какое расстояние предпочтительней. И защищались диссертации, понятно, защищали и защищать будут, то одному виду отдадут предпочтение, то другому, противоположному, и в этом нет ничего удивительного. Этому он и не удивлялся, он удивлялся исчезновению тропинок — куда они делись, куда подевались поля, пашни, сады, виноградники, пастбища, рощи, горы... Ну вот, хотя бы горы, скажите на милость, горы то не могли исчезнуть, их-то не сдвинуть в самом деле?.. Автобус останавливается... Ничего не видно, кроме надоедливо однообразных рядов. Куда все запропастилось, скажите на милость?! Автобус время от времени останавливается. Проволочные ограждения вроде обрываются или сворачивают за угол, или сливаются дороги — к столбовой присоединяется узкая, сельская дорога, так же тщательно огороженная с обеих сторон; и округ села тянется проволочная сетка. Село, посаженное в клетку. Вдали, пока хватает глаз, ряды фруктовых деревьев, необходимые и... нетронутые рукой человека. Он и этому нисколько не удивляется, ничему в этом роде он не удивляется — удивляется только, что не может сообразить, где пролегли тропки, откуда и куда вели?.. Много их было — не перечить, не вспомнить; вся окрестность испещрена была тропами, тропинками, тропками, но где та, одна, хотя бы одна?! Когда их

много — понятно, но ведь одна есть одна, а никак не множество! Одна есть одна... По ней и пошли, свернули с дороги.

В конце концов все же свернули.

И эта дорога вела бог весть куда?

Куда ее перенаправили — примет никаких не осталось, никаких указателей: ни дубняка, ни башен, ни сельской церкви, испоганенной много раньше, ни кладбища с перебитыми крестами и вывороченными могильными плитами, ни высоченного, выше тополей, бука, который раскачивался, не переставая, и ворон сидел на верхушке и раскачивался вместе с ним, хохлился, каркал и опускал крылья, ничего, ровно ничего не осталось... Она вдруг остановилась, как громом пораженная — солнце заходило, на солнце раскачивался ворон, взъерошился, каркнул, опустил крылья и сгорбился на солнце; на столбовой их непременно настигла бы ночь, непременно настигла, и она отдалась тропе, может неправильно так говорить, нельзя, конечно, но иначе не скажешь, потому как она не ступила на нее, не пошла по ней — помчалась, словно разрезала воздух или воздух ее окутывал и она разрывала воздушные пути, разрывала и разрывала; растрепались локоны, что ниспадали на плечи, рассыпались, лучились, блестели на солнце... Он бежал за ней след в след, будто хотел поймать. Но нет, конечно — она хотела засветло добраться домой, ему нельзя было отставать раз уж встретились, раз уж пошел с ней, а то ему лучше было идти ночью, ведь возвращался пристыженный. Ночь могла и стыд скрыть, день — не мог, солнце — не могло. Августовское солнце впридачу, когда и ночь сверкает, ночь месяца Мариам¹.

Но ночь не наступала.

Пока еще не наступала.

Пока солнце лишь миновало ворона, миновало, покатилося по Лихской горе, покатилося.

Они вышли на столбовую дорогу. Шли бы по ней некоторое время, потом дорогу снова перерезала тропа, до нее перевели дух. Она пошла медленней и дух перевела и себя подбодрила — может кто-нибудь по-

¹ В древнегрузинском календаре — август.

кажется, чей-то голос послышится. Никого. И голоса никакого. Потом она пошла по тропе, уже пошла, устала, излишним оказался тот бег и усталость дала о себе знать. Ни воздушных пут, ни сверканья, ни блеска, локоны упали на плечи. Стан, как наемни, неся стрелой. По нему не заметить усталости, опять же по локонам — только ветерок как-будто унялся. День соединился с вечером или овеществлялся в нем и было молчание овеществления. И царил страх овеществления. Может, она шла еще и потому — страх вел и шла. Он шел за нею по-прежнему легко, как ходят по тропинке; слышал, как участилось ее дыхание, начало сбиваться, остановилось, чуть ли не прервалось. Замечал, как она оглядывалась, утомленная все равно, неприступная, как Тетнульд, как Ушба, а уж с холмом сравнивать и в голову не придет. Она была близко, рядом, и отдаляла его взглядом, отдаляла и после, когда взяла его за руку, сама взяла или он протянул, он тогда не догадался, не догадался тотчас же, а когда догадался — они шли, взявшись за руки, шли по тропе, по одиночной тропе шли двое. Она все равно гордо на него посматривала, хотела высвободить руку, но не подчинялась рука, ничего уже не подчинялось, ничего решительно, кроме глаз, и горел в глазах огонек неприступности; он не угасал и потом, когда ветерок снова растрепал локоны, и потом, когда локоны ласкали его по лицу, и потом, когда она собирала локоны и оглядывала его так, словно возьмет и вышвырнет за тридевять земель. Он, может, уже там и находился, может, именно оттуда протянул ей руку, помог, вел, только, как-будто отдалялась деревня. Показалась и двинулась, да не навстречу, вроде норвила сбежать.

Вот, вот...

Тут она должна спуститься вниз. На указателе — название деревни, иначе невозможно догадаться, куда ведет дорога между проволочными сетками.

Здесь где-то был...

Пробивался родник. Он сверкал, журчал, лепетал. Боярышник рос, перегнувшийся зонтом, можно было передохнуть в тени, унять ломоту в ногах, охладить разгоряченное сердце, хотя они не нуждались уже в тени — солнце упало за горную гряду. Они хотели от-

дохнуть. Он не так чтобы уж очень, а то и вовсе не хотел, но она вдруг опустилась на пригорок, обессиленная, не смогла дойти до родника, и он не сумел принести ей воду. Нес пригоршнями, вода проливалась на дорогу. Это заставило ее улыбаться: ясно, что прольется, а он все равно возвращался, набирал воду в ладони, сложенные чашей, и нес. Улыбалась, а в глазах по-прежнему горел свет недотроги, не угасал, не погас и тогда, когда она взяла его мокрую руку и провела по своему лбу. Сама взяла, сама провела; он следовал за ней, его мокрая рука следовала за ее рукой, словно. Но нет, сравнение тут ни к чему. Скажем так — он покорно следовал за ней, и когда его рука потеплела, согрелась, стала сухой, он додумался побежать, намочить руки в воде, прибежать обратно и протянуть ей. Додумался, ничего не скажешь, только не помнит, каким перед ней предстал, впрочем, каким образом он мог помнить — как протянул руку, как смотрел на нее, не помнит, еще бы, попробуй увидеть самого себя; а выглядел довольно-таки смешно, должно быть, — она зашлась в смехе, и свет недотроги в глазах погас внезапно, мгновенно, таким она смеялась смехом, смехом искренним, непосредственным, от всего сердца и, не переставая смеяться, взяла обе его руки в свои, осторожно приложила ко лбу и медленно-медленно провела по лицу сверху вниз, все так же, все так же, с тем же смехом. Провела — и ни прохлады, ни влаги, испарилась влага как-то сразу, согрелись руки от жара ее лица, высохли. Ему бы снова сбегать к воде. Не смог. Двинуться с места не смог. И рук не мог оторвать. И она перестала смеяться, и о нем вроде бы совершенно забыла, изумленно смотрела в небо: они только-только проводили солнце, уже и звезды засверкали, но по-прежнему стоял день. Все еще продолжался день или ночь наступила?.. Она смотрела на небо, своим глазам не верила. Он мешал — усталился на нее и она вроде хотела отвести голову, и он вроде хотел отнять руки, но нет, не смог отнять — скользили щеки, пылающие щеки скользили по разгоряченным рукам.

Здесь где-то был..

Она медленно пошла вдоль проволочной ограды.

Повернула обратно.

Поднялась и спустилась, то — туда, то — сюда.

И снова поднялась, и снова спустилась.

Нет, не смогла смекнуть никак — ряды яблоневых деревьев тянулись вдаль, ряды, ряды, откуда ни по-смотришь, однообразные, не изменяющиеся нисколько. Зато он изменился в лице — внезапно бросилась к ограде большущая овчарка и тотчас собачья свора налетела со всех сторон, собаки перепрыгнули бы через проволоку, когда бы их не отогнали хозяева. Цыкнули на собак, отбежали те с лаем, тявканьем; окликнули и его, и поняли, что он не за фруктами подходил к изгороди, поняли, прогнали собак прочь. Чужих собак, привезенных откуда-то вместе с хозяевами, чтобы никто не воровал фрукты; а если бы воровали, пусть вся деревня день и ночь воровала, не сумели бы украсть на столько, во сколько обходился уход за этими яблонями. Не сумела бы ни в какую. Тогда не догадывались, когда все решали закрыв глаза и получали согласие. Только потом поняли, перестали нанять сторожей с собаками, но какие-то там штрафы или что-то в этом роде все же заставили платить. Хотя это уже другая забота. Тут надо сказать лишь, что они пока еще не догадались правильно ли идут, но все равно, когда отогнали собак, продолжили путь.

Не смог догадаться.

Не смог смекнуть.

Никаких указателей не осталось.

Лежали там же, на том же пригорке, у родника, лежали навзничь.

Она всплакнула, чуточку всплакнула, он не нашел, чем ее утешить. Молчал. След слез блестел, словно звезда присела на ее лицо. Лежали. Лежала. Она уже не спешила, когда наступила ночь, похожая на день, пасмурный день. Она никуда не спешила и ничего ее больше не пугало. Случилось то, чему суждено было случиться. Безо всякого страха, борьбы и прочего. Все произошло просто, непосредственно, они вроде и не поняли, что именно и как все случилось. Только после, чуточку позднее, она поняла и всплакнула. Потом они лежали навзничь. Она смотрела на небо и молча, бессмысленно пересчитывала звезды. И он молчал. Потом поднялся, протянул руку, помог ей встать. И сумки он

собрал — и ее и свой «дипломат», сам же нес, и ее держал за руку, вел словно. А и впрямь вел — она сбивалась с шага, что-то сковывало ее движения или тянуло назад. И снова остановились. Стали на перекрестке. Ей надо было свернуть в одну, ему в другую сторону, это как положено, но сейчас-то как?..

Именно это она и спросила, когда он остановил ее.

— А сейчас как?..

— А?.. — спросил он.

— Может, пойти с тобой?.. — спросила она.

— А?.. — снова вырвалось у него.

— Ваши завтра придут к нам?..

— Да...

То же самое вырвалось или вырвалось как-то неопределенно, не похоже ни на вопрос, ни на согласие. Вскоре, однако, что-то определилось, когда он сунул ей в руку сумку, повернулся и побежал приплясывая. Это было похоже на освобождение, избавление. Избавился, наконец, — ей во всяком случае так показалось или причудилось, или представилось явственно, хотя до того он ее обнял, поцеловал, попрощался ласково. Неважно, важен этот танцующий бег. Он означал освобождение, избавление от тяжелого бремени, когда понял, что надо бежать, что не может дальше оставаться в деревне, никак не может, если останется, то навсегда, навечно. Семья одолеет, свяжет по рукам и ногам, сломит, согнет до срока, сведет в могилу, ткнет носом в землю, затыркает; что ни день, заявится бригадир и — эге-гей, быстрее на работу. Потом он будет считать трудодни, потом — насколько его обсчитали, потом скандалить, болтаться на сельской площади, потом ломать себе голову, как прокормить семью, потом воровать... потом... потом... потом.... повалил дым столбом, сделалась метель, пронеслись ветры, все смешалось, и он затерялся в вихре. Затерялся.

Он закрыл глаза и пересчитал десяток лет. На этом остановился, а то и больше мог насчитать, безусловно, гораздо больше времени прошло, с тех пор, как он не видел этого облака, облака своей деревни. Он шел, и облако плыло следом. Растрепанное облако... И десятка было вполне достаточно.

Затерялся.

Однако только лишь отсюда, только лишь на другое облако смотрел, а то и вовсе никуда не запропастился: учился, выучился, снискал себе имя, если не весь свет — половину, наверняка, объездил с этим вот своим «дипломатом», которым и сейчас размахивает и которым тогда заслони́л лицо от злобных псов. Полсвета, значит, что и этого было достаточно, а то и слишком, после того дня, той ночи или дня, не сменившегося ночью. Вполне достаточно. Он прославился в своей области — латинским ее названием язык сломаешь; потому и не называю, да и надобности никакой, главное, прославился, и повсюду его приглашали, на все конгрессы или там симпозиумы, конференции, коллоквиумы и прочее, и тому подобное, приглашали и приглашали, вводили во всяческие комиссии, и чрезвычайные советники включали, приглашали, включали, а теперь и в Тбилиси пригласили, там обосновался один из его бывших учеников, прочно стал на ноги, до того прочно, что уже сам созвал конгресс, не какой-нибудь — всемирный; и своего учителя, разумеется, пригласил. Он привез доклад, основной, который зачитает на пленарном заседании. Какое уж там затерялся, смешно и думать; да и в этом облаке, в сущности ничего особенного. Облако и облако, облака повсюду есть. Коли не так, извольте, вот оно — ваше облако и ваш перекресток!..

Тот перекресток...

Смекнул с трудом.

— Все же смекнул, молодец!.. Прежде дворы были открытые — дворами не назовешь — вся деревня нараспашку, никаких заборов, оград, изгородей; широкие проселки вели к домам; впрочем, к чему они, проселки — ходи как заблагорассудится, срезай дорогу где угодно, сокращай путь. Нынче не сократишь — загородили, перезагородили, огородились, отгородились, обнесли высокими толстыми стенами — железобетонными или кирпичной кладки. Дороги, проселки и канавы, засыпанные землей, урезали дворами, и железные ворота установили, замки повесили, каждая усадьба — за семью печатями; прямо, как в сказке: ни птице не пролететь, ни муравью не проползти. У него сжалось сердце, он весь сжался, сгорбился, или вначале плечи сжались, потом сердце, когда он с трудом пробрался

через стиснутый заборами поселок. Подворья домов некогда назывались частными и были открыты, называли их коллективными — и огородили, заперлись, отгородились от всех и вся, заточили сами себя, никого ни видеть, ни слышать не желают. Он, значит, с трудом протиснулся промеж заборов и узнал с трудом, но узнал, где надо свернуть... Она пошла сюда, он — в противоположную сторону. Узнал. Его дом, двор, калитка не были за семью печатями — мать обо всем ему сообщала. Спрашивал. Она писала в ответ, естественно, мечтала его увидеть, просила приехать: «позволь, — писала, — хоть раз на тебя взглянуть, увидеть таким, каким помню, ты мне какие-то фотографии посылаешь, чьи они? Если твои — ты уже не такой, каким был, каким тебя помню, а если чужие — к чему они мне, или, как есть, каким бы ты ни стал, приезжай!» О железных воротах, бетонной ограде, ни тем более, семи печатях и вовсе не упоминалось, но все равно заперлась, так ему показалось во всяком случае, и недобрые предчувствия овладели им, сердце екнуло, заперстрило в глазах, и потом уже запертый дом показался ему дурным знаком. Он почувствовал слабость в ногах, присел. Большущая глыба валялась рядом, Бог весть с какого времени. Это было их подворье. По глыбе он ее и узнал. Она была и калиткой, и забором, ему ничего не надо было больше, хотя другие обстроились и огородились заборами и его старый дом с побитой черепицей зажали со всех сторон. Ему надо было встать, но и сидеть и встать было невозможно. И дышалось с трудом. И позвать не мог никого, или не решился, боялся — а вдруг, не откликнется. Может на него нашло мгновенное помрачение и, когда опомнился, — увидел руку, различил стакан, кто-то протягивал ему воду. Он не взял стакан и не смог бы взять. Отпил прямо из стакана, протянутого чьей-то рукой. Несколько полегчало.

Полегчало.

Чутьочку.

Чутьочку.

Потом он все слышал так, будто его и не касалось, слова падали просто, словно рассказывали чужую историю. Рассказывала женщина, та самая, которая протянула ему стакан с водой, рассказывала, что его мать

преставилась, что предали ее земле по всем правилам и положенным обрядам, но не смогли, не могли сообщить ему, и деревня огорчена была. Она и на кладбище его повела, свечи с собой прихватила, немного еды и бутылку вина, чтобы сын помянул покойную; и где найти машину, объяснила, когда он не захотел остаться дома, и дорогу показала, и она же подбодрила, что не надо беспокоиться — могила без присмотра не останется, и за домом присмотрят, ни о чем не надо беспокоиться. Не надо беспокоиться! Он и не беспокоился, иссох, извелся весь, не ощущал в себе ничего — одну пустоту. Там-то, у неосевшей еще могилы, что-то чувствовал, потом ничего. Ничего больше не понимал, ничего. Лежал в машине, как колода, как предмет. Машина мчалась между теми же заборами, железными заборами, проволочными оградами. Его это уже не беспокоило. И тропинок не замечал. Да и не смог бы заметить, как бы ни старался, все было стерто; стерто, преставилось, исчезло, исчезли просторные долины с присевшими на них деревнями, окруженными садами и виноградниками, своими собственными садами и виноградниками, большими ореховыми деревьями, что доходили до самого неба, стерлись, канули в лету. Неслась машина — и он в ней. То ли от встрясок, то ли от чего другого он несколько собрался с силами или, как там, опомнился и появился слабый просвет в сумбурных мыслях, и он догадался, что эта женщина была той самой, которую он оставил на перекрестке. Он, вроде, не узнал ее, но, несомненно, это была она. Не узнал или вовсе не вспомнил, не вспомнил у своего дома, а то узнал бы непременно. Узнал бы! Узнал! А пусть и не узнал — она была! Изменилась бы, конечно, ведь и мать не узнала его по фотографии, чьи это, спрашивала, фотографии посылаешь? Не узнала. Удивлялась. И вдруг у него защемило сердце, до того, что остановилось дыхание и он начал хрипеть. Водитель понял — надо везти в больницу. Потом он лежал в больнице. Лежал лицом к стене. Если поворачивался — отводил взгляд от медсестры, врача или кого бы то ни было, никому не смотрел в глаза и снова поворачивался лицом к стене и беззвучно плакал, плакал, и слезы катились по лицу. Оставил на перекрестке... Бросил... Сколько вре-

мении прошло!.. Какие раны затянулись?.. Затянулись ли?.. Кто знает, кто ведает, что она перенесла, или что ей стоило — протянуть ему стакан с водой, принести еду и свечи, зажечь их?.. Кто знает-ведает, что испытала, когда сидела в головах умирающей... Или куда раньше, хотя бы в ту ночь, хотя бы в тот день, когда ждала и поняла?.. Кто знает?.. Кто ведает?.. Сама-то знает!.. И ничего не дала ему почувствовать, ничего, словно он был кто-то посторонний, чужой, невесть откуда взявшийся, которого впервые видит; словно ничего и не произошло на пригорке, у родника, где горбился боярышник, обсыпанный звездами, как пчелами; будто ничего и не произошло или стерлось так же, как тот пригорок, родник, боярышник, обсыпанный звездами... Тропа... Тропы... Как она посочувствовала?! Может, решила — пусть сам меня узнает?! Может быть?.. Он ничего уже не понимал, не соображал, следовал за ней опустошенный, постоял у могилы, выпил стакан. А ведь свечи-то — она зажгла! Все равно зажгла, свечу зажгла. И катились из глаз слезы, пока он собрался с силами.

Собрался и встал.

И конгресс прошел. Прошел успешно. Он не успел к пленарному заседанию, и на сессию не успел. Доклад остался в «дипломате». Не смог достать его и прочесть. Не вкусил радости рукоплесканий соотечественников, этого нет, но доклад пригодится. Пригласили бы еще. И уже пригласили. Здесь, увы, пришлось пропустить и экскурсии и торжественные встречи, разве только проводили, с той же торжественностью, что и других членов конгресса: поили, кормили, из кожи вон лезли, чтобы получше провели время, и проводили, чтобы тотчас принять участников других конгрессов и симпозиумов, участников различных переговоров и различных спортивных мероприятий, чтобы снова лезть вон из кожи, обхаживать, надирать и выговора получать, если кого чем обидели или у гостя случилось расстройство желудка или рыба кость в глотке застряла, получить выговор, если не больше, а доход уплывал. Проводили, одним словом, торжественно проводили.

До этого он встретился. Да, встретился, встретился. Она пришла в день, когда его выписывали из больницы. Принесла корзину сушеных фруктов, пирогов, покры-

тых лозовыми листьями. Извинилась за немное и за опоздание извинилась.

— Вы?!

Он удивился, до того удивился, даже головы не поднял, когда смотрел на руку, которая держала корзину, знакомую руку, теперь уже знакомую, что протягивала ему, сидящему на глыбе, стакан воды.

— Яаа... — удивилась она, сильнее удивилась его удивлению.

— Ооо, как я лгу!!! — произнес мужчина, произнес столь возвышенно, столь выпренно, что изумлению женщины не было границ, глаза у нее стали большими, могло показаться — она и рот разинула.

— Вы... — продолжил мужчина тем же тоном, тем же голосом, и заметно было, должна была последовать пространная речь.

— Я нет... — опомнилась женщина, — я, знаете ли, невесткой вашим родственникам прихожусь. Меня привезли в ту осень, когда вы... изволили уехать...

Ну, а потом его проводили. Поднялся по трапу в самолет. Самолет взлетел. Другой самолет кружил над Тбилиси, кружил, искал места посадки.

А в а н с

На кедре дрозд пел.

На кедре пел дрозд.

Пел дрозд на кедре.

Пел на кедре дрозд.

Дрозд на кедре пел.

Дрозд пел на кедре.

Можно по-всякому. Все фразы правильные, все построены по языковым законам. Какую захочу, ту и выберу. Моя воля переставлять слова, ни с кем не советуюсь, потому как они, слова эти, во всех случаях стоят на месте, а если у кого сместились понятия, ум за разум зашел — не моя вина, пусть сами разбираются, или, как у нас говорят, пусть каждый оплакивает своего покойника, то есть, сам о своих невзгодах печется.

Так вот, дрозд пел на кедре. И это, наряду с осталь-

ными, правильно, и зря кому-то покажется устарелым, ибо нет ничего нового, что не было бы старо.

Дрозд пел. Пел на кедре, в одиночестве, грустную песню. Он пел грустную песню и выветривал грусть из сердца Геронтия, развеивал ее по ветру, и Геронтий благодарными глазами смотрел на верхушку кедра. Он не видел птицы, спрятавшейся в хвойной щетине, но все равно смотрел, не сводил глаз; смотрел на хвойную щетину, в которой дрозд запрятался и пел свою грустную песню. Он ее понимал, жгучую, неумную, неутихающую грусть, одну ее слушал и понимал. Другого он и не понял бы — сплошного гула, состоящего из галдежа: молодежь окружила родник, галдела, припадала к воде и снова галдела, и снова, и снова. И родник клокотал, или подобие родника, который журча лился из чугунной пасти странного животного в гранитной стене; родник, благословленный стихами Акакия Церетели, словно Илией, самим Илией — богом дождя и всяческой влаги. А ведь тем не менее иссяк, пересох, видно, и сердиться умеет Илия. Стихи не стерты, и чугунная пасть на прежнем месте, а родника нет. Нет родника, заменили его нынче мозаичной чашей, там же, в саду, и порой пустят воду, чтобы несколько утолили жажду, а то и не пустят воду вовсе. Жажда мучает? И пусть себе, пропади они пропадом со своею жаждой! Однако в ту пору родник еще клокотал, звенел веселым звоном, как встарь, во времена Сараджишвили, в церетелиевские времена, когда поэт со слегка откинутой головой, полукрыв глаза, благословлял животворную влагу. И она бурлила, клокотала, кипела. И пили ее, пили и пили.. И удивляется Геронтий неумной жажде — откуда она, отчего?.. Галдежу он нисколько не удивлялся, верней, и не слышал — он слушал лишь грустное пенье, и если хотите, не видел, как пили воду, неотрывно смотрел на верхушку кедра и не видел, скорее чуял, зрел неким боковым зрением и в глубинных пластах чувства или зренья некая отображалась всполошенная молодежь. Она галдела, припадала к роднику, подставляла ладони чашей и хлебала и пила воду пригоршнями и снова галдела. Галдели допризывники или уже призванные в словестность из заводов, фабрик, колхозов, когда уже ликвидировали кулачество как класс; призванные из уч-

реждений и предприятий, отозванные от агитпропа, чтобы привнести в литературу знания, жизненный опыт, новые темы, трудовую закалку, оздоровить замшелую словестность, устаревшую, декадентскую. Оздоровить, а то и вовсе стереть с лица земли писателей с ихними запутанно-перезапутанными сюжетами, ахами и охами, причитаниями, меланхолией ихней, слюнявой сатирой; стереть, извести сатирой своей, беспощадной, непримиримой; иных уничтожить враждебными выпадами — тех, что запутались в закоулках, именуемых художественными, и до того запутались, что растерялись даже суетливые и суматошные критики. Представьте себе, суматошные критики тоже изволили здесь находиться. А дрозд пел и пел, не меняя места, не меняя голоса, настроя не меняя, все так же, все о том же, и слушатель был все тот же и слушал одно пенье, ничего больше. Он не слышал галдежа, гула, гвалта, смеха, хрипа, хотя знал, они — это своевольная, своеправная сила, сопровождала каждое их слово, несусветную чушь сопровождала сила и энергия великая, мощная, и голоса соответствовали энергии. Легко и формулу вывести. Ведь Геронтий исследовал национальную энергию, выявлял ее, посвящал ей статьи и труды, тем не менее об этой формуле не подумал, и понятно — она только намечалась, появлялась и тут же исчезала. Появлялась и исчезала, намечалась и стиралась. Нетрудно было вывести и эту формулу. Энергия галдела у родника. Родник клокотал и энергия галдела; галдела здоровая сила — ни единой занозинки, ни червячка сомнения, ни червоточины, никакого дуплишка. Галдела плоть, сила, мощь, энергия, выработанная в полях, у станков, на пастищах, призванная вершить науку, создавать литературу, музыку, изобразительное искусство, вызванная во всей ее полноте, всей ее мощью и энергией и жаждой, исполненной той же силы и мощи. И галдели мощно, и пили мощно, без усталости пили, да, только писать не умели и в ученые не вышли, и художниками не стали, и в музыканты не годились, лицедействовать и то не могли, во всяком случае с присущей или подобающей им силой. Слушатель дрозда этого не знает, хотя и не читает написанного ими. А ведь мощь в них прежняя и энергия прежняя, но выпала из русла и шумит, и галдит, сплош-

ной шум-гам — энергии никакой. Можно вывести и такую формулу: «Если энергии изменить направление...» Однако, нет, в начале следует рассмотреть другие соотношения. Пусть так. Формулу вывести можно. Что же касается этих, уже сказано, он вовсе не слушает, даже в их сторону не смотрит и сочинений не читает. Илья сказал: не могут они писать, не умеют! Он знает это от Ильи, Ильи Агладзе.

Он там, Илья Агладзе, в редакции.

Ждет.

Ждут денег. Редакция ждет, а причитается этим, которые пьют воду и галдят. Хочется пить и пьют... Сила выплескивается наружу, пересыхает в горле, вот и пьют и заодно ждут — посылают в творческую командировку, творческой командировкой жалуют. Илья просил аванс. Хотя и сомневался, но попросил; а командировочных ему не выпишут, командировочные — для тех, кто пришел из жизни, кто жизнь принес, как изволят говорить критики. Принесли жизнь и командируются в жизнь, чтобы еще принесли, поновее, посвежее, и деньги, естественно, подкидывают, не подкидывают, набивают им карманы деньгами, чтобы несли побольше и получше. Посылают, посылают и посылают, и они пишут, пишут и пишут, а едут ли, не едут ли — не велика важность, посылать-то посылают, писать-то пишут, то-то и оно, главное, пишут и приносят. «Не умеют писать!» — говорит Илья, а они пишут и приносят, и закидывают Илью произведениями, Илью Агладзе, которого называют «стилистом редакции», или того, кто не может выправить (выправлять-то нечего), а все равно правит или что-то такое творит, уже и сам не понимает, что именно. Ему приносят рукописи — он сует их в портфель, сует, набивает, никуда не денешься. Здесь, думаю, не справлюсь. Не справится, понятно. Придется ночь дневать, — можно ли так говорить: ночь дневать? Можно ли, нельзя ли — над этими самыми рукописями придется просидеть ночь напролет, не смыкая глаз, а Илья стоит в редакции и ждет, аванс получить надеется, мало ли, неровен час дадут. И попросить трудно. Просить вообще трудно, а для Ильи труднее трудного, но нужда еще трудней, и он просит, ничего не поделаешь. Ему отвечают: что-нибудь останется — выдадим,

он и ждет, присел на стул, съежился у стены и ждет, а портфель все пухнет. Они сперва поднимаются в редакцию, суют рукописи, а потом присоединяются к тем, которые у родника, которые галдят и воду пьют; народу прибывает, и щедро льется вода из чугунной пасти странного животного. Неиссякаемый родник, говорят, словно льется вода из уст самого Илии — бога дождя и всяческой влаги. «Ты меня подожди, — попросил Илья Геронтия, — зайдем куда-нибудь в кафе». Илья попросил, и Геронти ждет, и поет дрозд, поет не умолкая, и не стихает энергия, отозванная или сбившаяся с пути, отведенная в сторону энергия галдит, гудит, гремит; она воскресла, она восстала из пепла, и не выдержат ее ни Барнов, ни Джавахишвили; Робакидзе ли ее выдержать, Ингороква или Лордкипанидзе, тому, истинному, правому; или Киачели, или Галактиону?.. Потом, когда на Первом Всесоюзном съезде писателей заявят, что Советская власть предоставила писателям все права или право на все и отобрала лишь одно — право плохо писать, именно эти измолотят себе руки аплодисментами, переходящими в овацию, — «вот видите, это о Джавахишвили сказано!» Именно эти — только потом, потом, пока галдит палисадник дома писателей, некогда сараджишвилевский дворец, что в короткий срок сменил многих хозяев. Гремит энергия, отозванная или отведенная не в ту сторону, или сбившаяся с пути; и дрозд поет свою невеселую песню, и он ее понимает; он понимает грусть, и она объяла его.

Эти не понимают.

Не понимают ни дрозда, ни грусти, ни друг друга; ни в какую не понимают, каждый старается пробить свое; всем вместе вроде весело, но все равно каждый сам по себе, каждый стремится превзойти остальных и повышает голос, тарабарит все громче и громче, только знает, где точка, знает, голоса не надорвет, не сорвет, а заткнуться не заткнется, если, конечно, не заставят заткнуться. Но это просто так сказано, красного словца ради, этого никто не боится, а как же другие? А другие пускай хоть шею себе свернут. Эти знают жизнь. Поняли жизнь, несут жизнь, если пишут не ахти как, не их забота, пусть Илья Агладзе последние волосы на себе рвет и этот, как его, Геронти пусть подся-

дет к Илье и правит, умеют писать — так пусть правят. Те умеют жить, то есть знают жизнь, эти умеют писать. Умеете писать? Так, будьте добры, правьте. Они, правда, отжили свой век, но что-то, худо-бедно, да знают, мысли никакой, а если и есть — ошибочная, но по части слова — искусники, умеют писать, фразы правильно построить. Вы, говорят, должны их использовать, выдоить, высосать и выплюнуть, как шелуху вот этого самого, подсолнуха. Им же сказали: вы, со своей стороны, сказали им, должны действовать, оказать на них идейное влияние, воспитать, внушить, поставить на рельсы попутчиков, кое-кто может и пригодиться, не всех же в одну кучу валить, да не всех же на свалку?! Сказали — послушались и, когда пытались свое провести, окружали, если кто попадется в руки, брали в кольцо. Геронтия — нет, не смогли и не смогут окружить, того самого, который их не видит-не слышит, сидит на скамье, сложив руки на груди, все там же и вприщур смотрит на верхушку кедра, порой и не смотрит вовсе, закроет глаза и уплывает в дальние страны, далеко-далеко, за тридевять земель, следует голосу дрозда, погружается в грустное пение, утонул или вот-вот утонет. Не смогут, одним словом, его окружить, воспитать не смогут и в попутчики не сманят, никакого от него толку; разве что посмеяться, потешиться: одряхлел и отупел от старости, и пусть себе дряхлеет все больше, до самой гробовой доски. Зато... вот он, Серго Кджиашвили. Сама судьба послала, только высунет из библиотеки голову или нос, вытянет свою и без того куриную шею, тут его и в кольцо. Серго кого-то ищет. Тициана Табидзе, не этих, понятно, которые у родника, почему да зачем, не стану расписывать, далеко уведет в сторону, нынче он Тициана просто так ищет, сказать: завтра, дождись меня во дворце, не исключено — деньги где раздобуду. То же самое. Ведь и Агладзе деньги раздобывает. Серго ищет Тициана, поворачивается, поворачиваются и все дружно, разом, как по команде, хватя его — и в кольцо. О роднике позабыли, унялась жажда, не хотят пить больше, и опять дружно, разом, как по команде: написали что новое?.. Давно ничего вашего не читали... Спросят хмуро, сверкая глазами, и таким тоном, что явственно слышится: мы-то вовсе ничего тобой

написанного не хотим, но попробуй не написать, наших требований не выполнить; таков их тон — требовательный, угрожающий, и теряется щедушный человек, шея укорачивается, голова уходит в узкие плечи. Щедушный-то щедушный, но сердце у него из скального камня или кремня и голос будто кремневый, одно тело вроде как иссыхает, а голос становится все громче, и металлические нотки начинают звучать в нем, и распрямляются вздернутые узкие плечи, распрямляются и застывают в неподвижности, как плечи бурки, негнущиеся плечи.

Я, говорит, вас искал.

Да ну!

Вас искал. Хотел спросить: написать или нет. Есть у меня один сюжет: два друга-приятеля летним вечером с грустью смотрят на закатное солнце. История происходит в городе. В городе, который если не лучше, ничуть не уступает нашему Тбилиси, впрочем, почему не происходить ей в самом Тбилиси. Пусть. Вы только проследите сюжет: летним вечером, в Тбилиси, с балкона старинного дома с кариатидами два друга-приятеля грустно смотрели на закатное солнце. Вечер был мирный, тихий и рождал мысли о безжалостности брэнной жизни. Жизнь мгновенна, не успеешь оглянуться — уже постарел и не насладиться больше любовью, которая приходит в такие вечера. Не насладиться, увы, они уже не те, какими были. «Все кажется, ты пока еще молод, но оглянись и какое там!» — сетует Пьер. «Оглянешься и стар! — соглашается с приятелем Анрье и продолжает, — я случайно это обнаружил и меня как громом поразило, поразило до того, что я долго не мог придти в себя. Ведь я, изволишь знать, не раз влюблялся, но по-настоящему любил только однажды. Это была любовь истинная, неопикуемая, она одарила меня крылами и позволила испытать всю свою сладость и величие. Мы встретились на берегу моря. Она очаровала меня, пленила и я влюбился в нее с первого взгляда, с того самого первого взгляда, о котором знал из сказок. Столь остро переживания я никогда не испытывал; такой красоты не видел, и никогда прежде не встречал подобного совершенства. Я весь был охвачен дрожью, у меня кружилась голова, когда я смотрел на нее, да и к чему

смотреть, если одно воспоминание о ней вгоняло меня в дрожь. Любовь мне казалась нежнейшей вуалью, белой перчаткой, в спешке оставленной ею, белоснежной перчаткой, в ее объятиях я забыл о своем существовании, меня не было, мы были одним целым, единым, воедино слились наши тела, наши души слились и погрузились в нирвану, обитель вечного блаженства. Она была замужем, но это нисколько нам не мешало. Он приезжал домой по субботам, мелькал блеклой тенью и исчезал, словно его и не существовало. Он не мог нарушить нашего уединения, исполненного блаженства и самозабвения. Итак, было лето, обычное лето и вместе с тем необычное, поскольку оно было исключительно нашим! Потом мне пришлось уехать в Америку, потом еще куда-то, где только ни привелось побывать, и в любви нигде и никогда не испытывал нужды, но она, та единственная, сопровождала меня всегда и повсюду. Она была со мной, когда я оставался в одиночестве или шел на свидание со все новыми и новыми дамами. Она была со мной, как образ вечной красоты, неувядания, волшебства, и я не замечал, как бежали дни, время шло, и с ним уходила молодость. Нет, не замечал, не видел западни быстротекущей жизни. Но увидеть пришлось все же внезапно, неожиданно!.. В тот день у меня никаких дел в городе не было и я отправился, ну, скажем, во Мцхета, где за пиршественным столом ждали меня мои беспечные друзья. Я запаздывал и заранее наслаждался, предвкушая торжественную и веселую встречу, иных забот у меня, как сказал, не было. В вагон поднялась какая-то женщина, скорее, не женщина, а мешок, набитый всяческой дрянью: лицо одутловатое или распухшее, полное, как луна в полнолуние; нет, нет, отказываюсь от этого сравнения. Луна все же луна, она не распухает, она светит. Одутловатое, опухшее, оплывшее лицо — этих определений достаточно. О ногах и фигуре говорить не стоит, не смогу описать, как она дышала, пыхла то есть, как пот струился по ее рыхлому лицу и глаза заплыли жиром. Не могу обойти молчанием лишь четырех девочек. Четыре девочки шли за ней, как цыплята за наседкой — это сравнение вам, разумеется, понятно; она и на лавку вагона присела, как наседка, прямо напротив меня, усадила рядышком своих

цыпляют. Я уткнулся носом в газету, сделал вид, что поглощен чтением, так и поднялся бы, не отрываясь от газеты, вышел в тамбур и спустился на станцию, но увя, моя немудреная хитрость не прошла: она отогнула край газеты и выдохнула мне в лицо: «Вы, несомненно, мусье Анрье». «Да», — отвечаю. «Вы меня не узнали?» Я онемел. Узнал вроде и вроде нет. Вспомнить-то вспомнил многих, очень и очень многих, а ее — никак. Не смекнул. «Я мадам Жюли Лефевр», — говорит она. Жюли! Это была она. Несомненно. Старшая дочь как две капли воды походила на молодую Жюли. Она, если угодно, была ее повторением! Неужели вуаль этой, сидящей передо мной женщины, вызывала трепет моей души, ее вуаль и небрежно брошенная, белоснежная перчатка. Неужели в объятиях ее рук я забывался и переставал ощущать собственное существование?! В объятиях этих рук, именно этих, ведь я не говорил на что они стали похожи; не говорил, нет нужды. Жюли!.. Неужели?.. И если это она, какое зрелище должен являть собой я сам! — тогда впервые пришла мне в голову эта мысль и ошеломила, поразила, сразила. И потом долго-долго я разглядывал себя в зеркале, искал его, Анрье тех лет, но тщетно; Господи, Боже! От прежнего Анрье не осталось и следа, ничего ровно. Удивительно право, как это она умудрилась меня узнать? «До свидания», — вырвалось у меня, и я распрощался с дивными днями незабываемого лета. Попрощался — попробуй не попрощаться.. — закончил свой рассказ мусье Анрье. — До свидания!» — прибавил он с горечью. «До свидания», — вырвалось и у мусье Пьера. (Да, я вам не объяснил, что мусье по-французски значит — господин, а мадам — госпожа). Значит, господин Пьер произнес вслед за Анрье — «До свидания!» — произнес так же, как и тогда, когда сверкал вечер молодости, любви, да, когда сверкал вечер молодости, любви, увлечений, как встарь, как встарь...

«Какова вещь? — спросил Серго и, не давая им времени задуматься, ответил: — Не пригодится!».

Они и не собирались задумываться, эти самые допризывники, или уже призванные — вызванные с полей, заводов, предприятий, учреждений, им и не хотелось задумываться, ответили просто, без колебаний:

«Не соответствует нашему времени!»

«И я так думаю», — согласился Серго Клдиашвили, — потому и другой финал придумал:

«Стою в очереди, очередь за колбасой, кто-то дергает меня за рукав пиджака, подмигивает тусклым глазом и шепелявит: разве вы не господин Андро? Я ведь стояла в очереди перед вами — шепелявит, и не перестает подмигивать; сама тощая, как хвощ, изогнутая серпом, дряхлая старушка, лепечет, протискивается между мной и кем-то еще, кто впереди, и застревает — ни вперед ни назад, но не сдается, тащит в очередь четырех девочек. Старшая кого-то мне напоминает, напоминает какое-то давнее и прекрасное переживание и хочется вспомнить... Но попробуй вспомнить — вокруг переполох такой, на старушку и девочек цыкают, кричат наперебой, норовят вышвырнуть из очереди. Откуда вы взялись, вы не стояли в очсреди! Она хватается за фалды пиджака, девочки хватаются за нее. «Спросите у него, у него спросите!» — кричит она эдаким шепелявым криком, — спросите у этого достойного человека. Подтверждаю без зазрения совести. Хотя нет, мне совестно, я отвожу взгляд и что-то бормочу, не разобрать ни бе ни ме, бормочу что-то неопределенное; старушка считает мой ответ положительным и цепко держится за пиджак, и девочки за меня хватаются и визжат и визжат, отбиваются ножками, приблизиться — никакой возможности. Очередь длиннющая и повсюду стараются влезть без очереди, как эта, и кричат, визжат, отбрыкиваются. Добровольные блюстителы порядка не знают куда бежать — в конец или в начало, или в середину, с ног сбились, и бог с ними — этих-то, которые впереди меня втиснулись, оставили в покое. Она все не унимается, эта тощая, живые мощи одно слово, поворачивается и подмигивает и стоит ей повернуть голову, она своими, торчащими в разные стороны жесткими волосами, как бритвой проводит по моему кадыку и подмигивает и подмигает, снова спрашивает: «Андро, не узнал? «Нет», — отвечаю. «Ну-ка вспомни», — пристала в одну душу. «Не могу вспомнить», — отвечаю. «Неужели? — изумляется, — можно ли забыть. Море, лето,

блаженство. Изумительное лето? Я — Джульетта Лаперадзе... Могу и так закончить» — сказал Серго.

«О, нельзя так, нельзя преувеличивать до такой степени наши временные затруднения. На чью мельницу воду льешь? — спрашивают — вы с кем, товарищ? — И наскакивают, и наскакивают, окружили кольцом, до того тесным — Серго трудно стало дышать и он захрипел. «Постойте... — хрипит, — постойте... С чего это вы вдруг, я ведь о меньшевистских временах говорю. Во времена меньшевиков действие происходит...»

Ну тогда другое дело, сказали, или что-то в этом роде, не удалось расслышать, сорвались все разом с места и — как ветром их сдуло, исчезли, Серго вздохнул с облегчением, но все равно забегал глазами, искал куда они могли подеваться? Не догадывался. Геронти сразу догадался — деньги привезли. Деньги. Пуще всего они ненавидели деньги и ругали и презирали, на словах, разумеется, а то всего более возлюбили именно эти самые деньги, кабы не бумажка была, а золото, тут же переплавили бы и — в желудки. Ничего не попишешь — любили. Любовь не обвинишь. Бальзаку удивляются, да и что такое Бальзак в сравнении с ними — плюнуть и растереть.

Дрозд перестал петь. Смолк. «Верно, устал, дух перевести хочет, — обнадежил себя Геронти, — переведет дух и запоет снова тут же свою грустную песню. Песнь одиночества, безысходности, неприкаянности». Дрозд замолчал и Геронти заговорил с Клдиашвили: «Что, Серго, забраковали тебе Мопассана?». «Забраковали. Недавно я «Мадам Бовари» пересказывал. Тоже забраковали. Что за народ, не пойму. Чем они, то есть герои Флобера, могут способствовать нашему восхождению? — спрашиваю. Не теряй, советуют, времени зря. Не пиши этого. Я и последовал совету. Не пишу». Геронти исподлобья посмотрел на Серго, улыбка скользнула по краям его губ, едва заметная улыбка: «Значит поверил. Ты поосторожней, смотри как бы не догадались!». «Как же, догадаются. Они, кроме «Гогиа Уишвили» и «Сурамской крепости», ничего не читали и, держу пари, не прочтут».

И снова запел дрозд и Геронти опустил веки. Се-

рго махнул рукой. Ему вообще никогда не сиделось на месте, не умел он вот так присесть на скамью и, затаив дыхание, с полузакрытыми глазами слушать птичье пенье, пускай хоть соловей поет, не умел, не мог. А Геронти умел и мог. Точь в точь, как древние философы: пусть хоть весь мир рушится, нам терять нечего, кроме своих мыслей, а мыслить можно и среди руин. Что и говорить, человеку лучше иметь ум и быть, пускай, несчастливym, чем быть счастливым и не иметь ни чуточки ума. И это исходит от них, от древних, хотя ясно, что не от всех и то ясно, что никогда, никто ни с кем не соглашался. Диоген насмешливо отзывался о Платоне; Платону, извините за выражение, наплевать было на Диогена. В саду не было уже никого, и Серго исчез, так что извиняться, оказалось, не к чему. Царила тишина, только журчал родник и пел дрозд, извинялся, должно быть, перед ними, древними. Простят. Они были люди искренние, непосредственные: Сократ — Я знаю то, что ничего не знаю. Метродор Хиосский — Я не знаю и того, что ничего не знаю. Они за словом в карман не полезут. Попробуй, одолей. Преодолей. И если существует счастье, и если счастье мимолетно — и одним словом будешь счастлив, одним единственным словом, коли вырвется слово непреодолимое, неодолеваемое и невысказанное прежде, разумеется.

«Я не знаю и того, что ничего не знаю!» — попробуй, превзойди. Как был бы счастлив тогда Метродор Хиосский, который и лаптей, что такое лапти, но и лаптей, передают, за свою жизнь не удостоился. Тут дрозд умолк, затаился, может, улетел? Геронтию слышалось, будто вспорхнула птица. Как будто бы слышалось, но ему показалось, дрозд перелистывал ноты, чтобы продолжить вариации на тему беспредельной грусти. Наверное, все же улетел или повесился, сплел веревку из хвоя и просунул головку в петлю, кто знает, кто ведает. Известно, что жизнь стремится к наслаждению; но ведь были и философы смерти. Философия наслаждения смертью. Были несчастные романтики. Несчастный дрозд с грустной, не ко времени песней, запоздалый и потому несчастный. Когда приумножатся бойни, самоубийством не доставишь наслажде-

ния ни себе, ни другим. Несчастный, запоздалый или от всего и вся безнадежно отставший... Одинокий. Сирота. Он помнит его всегда таким, плачущим, с тех пор, как этот дворец отвели писателям, или же, как он сам ушел от всего, ушел или его ушли, и привык к этой скамье, саду, где нет одиночества, но все равно удастся побыть в одиночестве, если закроешь глаза, или не снизойдешь до кого бы то ни было, кроме дрозда на верхушке кедра, автора одной — единственной мелодии, мелодии грусти в нескончаемых вариациях. Но что же с ним случилось — улетел или повесился?

Внезапно на опущенные веки легла чья-то тень.

Он открыл глаза:

Илья Агладзе, сухой, слегка сутулый, со светлым, благообразным лицом, нынче несколько сумрачным, правда, и движениями иными, неожиданными: безо всяких церемоний швырнул пустой портфель на скамью и сел на него, слова не молвил, да и не к чему. «Понятно», — Геронти старается отвлечь Илью, улыбается:

— Ни копейки не осталось?

— Ни единой, кассиршу чуть не в клочья изодрали.

— А как ты надеялся!

— Взял и перевернул портфель вверх дном над столом редактора.

— Освободит!

— Ну уж нет... Кто им будет эдакую несусветицу править?

— Научатся писать.

— Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, — смеется Илья, смеется, теперь уже над ним смеется, посмотрит на Геронтия и зайдется в смехе. Геронти молчит, ему не до смеха, ему не до шуток. Он думает: непременно научатся, хотя бы чему-нибудь, да научатся. Илья не верит. Впрочем, ему теперь все равно. Главное, они не присядут где-нибудь в кафе, и на рынок не зайдут, чтобы Илья купил продукты на дом и, ох, душа грешная, самому Геронтию не одолжить у него денег — как полагал. Все равно. Теперь уже все равно: запоет снова дрозд или нет свою песню в нескончаемых вариациях. Только у грусти есть вариации.

Вариации на тему грусти. У восторга нет вариаций, нет вариаций на тему восторга; мне пришло в голову «у восторга нет вариаций», и я написал хотя мог написать иначе:

У восторга вариаций нет.

Вариаций у восторга нет.

Вариаций нет у восторга.

Нет вариаций у восторга.

Нет у восторга вариаций.

Перевод Нодара ТАРХНИШВИЛИ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«МЕРАНИ»

ГРИШАШВИЛИ И. Литературная богема старого Тбилиси. Перевод Н. Тархнишвили, Тбилиси, 1989, 112 с., ил. — 20 000 экз. — 3 р.

АДЕИШВИЛИ А. Грустные рассказы + всецелые новеллы. Перевод И. Зурабашвили, Тбилиси, 1989, 177 с. — 3 000 экз. — 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

ХЕРГИАНИ М. Тигр скал. Повесть. Перевод К. Коринтэли, М., 1989. 207 с. — 100 000 экз. — 75 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

АБАШИДЗЕ И. Избранное. Стихотворения. М., 1989. — 25 000 экз. — 1 р. 80 к.

Магия любви

Дни мчатся, как галактики в пространстве,
Жизнь катится по ледяному склону,
А я, как принц из сказочного царства,
По-прежнему любовью околдован.
Уходит жизнь, как странное виденье,
Сгорит и этот маленький огарок.
Что там осталось — годы иль мгновенья?
Ах, сколько б ни было, все царственный подарок.
Все, что осталось — драгоценно вдвое,
Закатный час всегда так горько-сладок.
И, если б мы не встретились с тобою,
Мне путь к концу не показался б краток.
Но как расстаться с прожитою сказкой,
С загадкой говорящего молчанья,
Кому отдать неповторимость красок,
Безмерность наслажденья и страданья?
Свидетель бог — я не носил личины,
Тебя любил, тебя люблю безумно,
Быть здесь с тобой, и быть тобой любимым, —
Вот все, что мне от этой жизни нужно.
Твои глаза сжигают и поныне,
Твое дыханье, как глоток пьянящий,
Твоя улыбка — вот моя святыня,
Твоя любовь — единственное счастье.
Нам не дано остановить мгновенье,
И наш корабль войдет навеки в гавань.
Настанет час — туман исчезновенья
Оденет нас в холодный белый саван.
Я не ропщу. Мы часть великой тайны,
Мы лишь звено в цепочке превращений,
Пускай других причуда мирозданья
Кружит в водовороте повторений.
Пускай идут другие, спотыкаясь,
Крутой тропюю, пройденною нами,
Пусть возгорится, небо освещая,

Другой любви немеркнувшее пламя.
Придет весна к ненашему порогу,
Для нас наступит осень расставанья.
Что ж, небо нас благословит в дорогу
И звездами осыпет на прощанье.
Таков закон, ничто не длится вечно
И все стремится к вечному покою.
А если я вернусь сюда вторично,
То лишь затем, чтоб встретиться с тобою.

Отчаянье

Горела ночь,
пылали строчки
моих стихов,
Я задыхался
в водовороте
ненужных слов.
Могло единственное
слово
спасти меня,
И я искал,
искал упорно,
не находя.
Коснулся луч
зари холодной
дрожащих рук,
Пришло отчаянье,
мой старый,
мой верный друг.
Так будет вечно,
неизменно,
из года в год,
Наступит ночь,
и вместе с нею
оно придет.
Мое страданье
и мученье,
мой крестный путь,
Не дай мне бог
его отринуть
и отдохнуть.

Картина на стене

Я в кресле у окна, передо мной картина,
Простой прямоугольник на стене.
Какая удивительная сила
Таится в этом маленьком пятне.
Кю мне в каморку хлынуло пространство,
Неся с собой дыхание ветров,
Мой тесный мир наполнив жаждой странствий
И ароматом дальних берегов.
Границы рамки в блике солнца тают
И исчезает медленно стена,
И я лечу, лечу за птичьей стаей
Туда, где шумно пенится волна.
Стоит корабль, недвижим парус белый.
В голубизне таится фиолет.
Сошли матросы на пустынный берег,
Там на песке я вижу влажный след.
Будь я пиратом, я б похитил судно
И, как на крыльях, полетел вперед,
Я б вышел в мир бескрайний и безлюдный,
Где сине-алый тает горизонт.
Лишь мы одни — я и скиталец-парус
И вечный зов непознанных глубин.
И может быть, я б одурачил старость
И, став волной, остался молодым.
Но нет, увы, я не пират, все это
Очередной причудливый обман,
Рожденный фантазером и поэтом
Живу мечтой и верю только снам.
Вечерний сумрак окна затуманил
И растворились краски в черноте,
И я опять не выразил словами
Всего того, что высказать хотел.
Но, ночь пройдет, исчезнет мрак глубокий,
Но, ночь пройдет, и вспыхнет яркий свет,
И снова я увижу край далекий,
Где в голубом таится фиолет.
Но ночь пройдет, и я похищу судно,
И, как на крыльях, полечу вперед,
И выйду в мир бескрайний и безлюдный
Где сине-алый тает горизонт.
Лишь мы одни — я и скиталец-парус

И вечный зов непознанных глубин.
И может быть, я одурачу старость
И, став волной, останусь молодым.

О как недолог день...

О как недолог день,
Как время быстротечно,
Цветы увянут,
Догорит свеча,
Все, чем мы были —
Тело и душа
В одно мгновенье
Канет в бесконечность.
Покуда смерть
Не опрокинет в бездну,
Дай, Боже, сил
Хотя бы раз взлететь,
Хотя бы раз вершину одолеть,
Своей судьбой
Создать свою легенду,
Кого-то полюбить
И до конца быть верным,
Взрастить свой скромный сад,
Как ни был бы он мал,
Чтоб кто-то помнил,
Кто-то горевал,
Чтоб кто-то плакал
И скорбил безмерно.
О как недолог день,
Как близок миг забвенья,
Не век цветам цвести,
Не век свечам гореть,
Ночь неизбежна,
Неизбежна смерть,
Но так же неизбежно
И рождение.

Галактион

Как ангел чист,
Он где-то в небесах,
А мы внизу,

Свои грехи лелеем.
Он по ночам
Парит на облаках,
Глядит на нас
И от души жалеет.

Я часто вижу все это во сне

Не так давно
холодным зимним днем
шел катафалк на кладбище
и вместо балдахина
гроб покрывало
сумрачное небо.
И дети, стоя по бокам,
цветы бросали на дорогу.
Я рядом шел, замерзший и несчастный,
меся ногами грязь.
Я хоронил отца.
На бледное покойное чело
с закрытым взглядом,
устремленным к небу,
ложился тихо снег...
Я часто вижу все это во сне,
а пробудившись,
в предрассветной дымке
все думаю о том,
что в этом мире
гораздо больше слез,
чем радости и счастья.

Перевод Дарьи ГУРИНОЙ



Упрямое солнце

На безумных, диких склонах —
Маков красных облака.
Как нежна твоя рука!
А в душе моей тоска...
Слышишь песни родника?
В небе солнце жжет, упрямится,
Молодая поросль трав
Жарким морем растекается;
Убаюкивает ветер,
Море трав шумит, качается.
Стонет черная земля —
Под асфальтом ей не скрыться.
Тяжелы мои года,
Сердцу хочется разбиться.

* * *

Что поделать: жизнь в закате.
Словно солнце и луна,
Прочертив свой путь по небу,
В срок закатится она.
Пусть соха любви прилежно,
Терпеливо ждет меня,
Я уже не тот, что прежде —
Я лишь корень и стерня.
Я уйду, и для молитвы
В небе бога обрету.
Солнце дней моих заглянет
За заветную черту.
Знаю я, меня не станет —
Но счастливым я уйду!

Перевод Олега БОБРОВА



Рассказы

ЖЕНЩИНА В КОСМОСЕ

Габриэл приходит в проектную контору в девять часов утра, улыбается сторожу, инвалиду Васю, который стоит в дверях и с хмурым и несколько недовольным видом кивает головой в ответ на приветствия. Затем Габриэл переворачивает номерок на табеле, входит в свою рабочую комнату и желает доброго утра тем, кто там находится. Он проходит между рядами столов, и, подойдя к своей чертежной доске, внимательно рассматривает то, что было сделано вчера. Потом берет щетку и сметает с чертежа насевшую за ночь пыль. Начинается обычный рабочий день. Маро рассказывает сон, который ей приснился этой ночью, Петрэ — свежие новости, потом начинают скрипеть чертежные перья, шуршит бумага...

Габриэл чертит, все пять его чувств сосредоточены на чертеже. Он в каком-то вакууме — вокруг будто никого не существует, он не видит ничего, кроме своего чертежа, не слышит шума — слышит лишь звуки, срывающиеся с собственных губ, которые складываются в такие привычные ему слова — «балка», «рама», «плита», «парапет», «арматура», «бетон» и тому подобное. И он чертит, чертит, чертит до тех пор, пока не зазвенит в коридоре звонок, возвещающий начало перерыва. Только тогда он почти машинально кладет карандаш и возвращается в окружающий мир — всеми пятью чувствами. Стремительно взбегаем по лестнице,

входит в клуб, становится к пинг-понговскому столу и с ракеткой в руках ожидает партнера.

«Пинг-понг», — слышится при соприкосновении мячика с поверхностью стола.

«Пинг-понг», — стучит в сердце Габриэла.

Кончается перерыв. Габриэл вновь за чертежной доской и вновь бормочет что-то, понятное ему одному. Так проходит время. У Габриэла редют волосы, Габриэлу прибавляются года. Он уже и забыл, когда отмечал тридцатилетие своего появления на свет Божий. Пролетела молодость, он вошел в возраст, а суженой все не видать.

Встречались на его пути очень даже славные девушки, не одна и не две, но — почему-то он упорно воздерживается переступить этот шаг. Может быть, ждет большой любви, той любви, которая превратит его, самого обыкновенного человека, в рыцаря, в Тариэла!

Эх-ма, прошли те времена, любовь нынче стала фантазией, эфемерой! О ней мечтает лишь какой-нибудь бездельник. Габриэл же просто технар, конструктор, да и вообще все эти страсти уже не ко времени.

Кончился рабочий день. Габриэл прочертил еще одну линию и отложил карандаш.

Он спустился по лестнице и при выходе чуть не столкнулся с девушкой. Оба остановились, оглядели друг друга. Это была новая сотрудница — корректор. Габриэл, разумеется, поспешил отворить тяжелую входную дверь, пропустил вперед девушку и вышел сам.

Он быстрым шагом шел по тротуару. Как всегда в конце дня, на улице была уйма народу.

«Какая славная девушка наш новый корректор!», — подумал он и сердце вдруг сладко забилося. Он остановился перед каким-то магазином и уставился на витрину. Интересно, как ее зовут? Наверное, Манана или, может, Мэри?.. Почему я не заговорил с ней!.. Завтра обязательно познакомлюсь...

— Чего стал посреди улицы? — бесцеремонно преврала его размышления какая-то женщина с тяжелыми сумками в руках.

Габриэл очнулся, улыбнулся блаженной улыбкой и торопливо зашагал к дому.

— Задержался, сынок? — с улыбкой встретила его мать.

— По дороге задержался, — уточнил он.

Вымыл руки и уселся обедать.

— По дороге? А я было подумала... — мать не договорила фразу, налила тарелку супа и поставила перед ним.

Габриэл взял ложку, отломил корочку хлеба. Он догадался, что подумала мать, и у него затрепыхало сердце, как у ребенка при виде желанной игрушки.

— А все же что ты подумала? — нарочно спросил он.

— Тебе, конечно, мои наставления не нужны, но все же, иной раз и мудрецу нелишне напомнить

Габриэл улыбнулся. Мать продолжала:

— Ты ведь знаешь, в природе все...

— Знаю, мама, знаю, — прервал он ее и, как заученный урок, продолжил: — в природе все рождается, развивается, плодоносит и умирает. — Положил в рот изрядный кусок хлеба и сказал уже иным тоном: — это я хорошо знаю, и ты не раз повторяла, скажи что-нибудь новое.

— Что ж я могу нового сказать, душа у меня болит оттого, что ты до сих пор ходишь холостяком.

— Что поделаешь, судьба пока еще не постучалась ко мне.

— А судьба сама не постучится, сыночек, если ты ее не заставишь! — ответила огорченная мать и выразительно посмотрела на седеющую и почти облысевшую голову сына.

Тот, бодрясь, провел рукой по остаткам своей шевелюры.

— Ничего, мамуля, все будет! — проговорил он с напускной самоуверенностью и встал.

Габриэл обожает смотреть телевизор, особенно приключенческие фильмы. Он так переживает судьбу героев фильма, что в патетические моменты слезы произвольно катятся по его щекам. Вот и сейчас он удобно расположился перед телевизором и стал смотреть передачу. Смотрит, и то улыбается, то хмурится, то возмущается...

Рассветет утро, и как всегда, отправится он в про-

ектную. Улыбнется инвалиду Васо, перевернет табель, выслушает очередной сон Маро, новости Петрэ и приступит к чертежу. В перерыв сыграет партию в пинг-понг, а когда закончится рабочий день, возвратится домой.

Габриэл устремил взор в пространство и задумался. Какая славная девушка, оказывается, наш новый корректор. Да, надо, надо было остановиться, проводить ее.

— О чем ты задумался, сыночек?— услышал он голос матери. Она сидела тут же, рядом, за столом и шила.

— Да так, ни о чем,— он поглядел на наручные часы

Однако пора спать. Сейчас он ляжет, уснет и будет спать до рассвета. Хотя бы сны ему снились, что ли!

Он улегся в постель, закрыл глаза и замер в ожидании прихода сна.

...— А какая славная все-таки эта наша новенькая... корректор,— снова подумалось ему.— Да, надо было познакомиться. Надо было что-нибудь сказать, проводить ее, назначить свидание. А я устави́лся на все, разинув рот, и ни слова. Только извинился. Повернулся и пошел. Что она подумала обо мне, а? А если бы я назначил ей свидание, мы и завтра бы встретились. Впрочем, глупости, завтра мы и без того встретимся. Может, так оно и лучше, что я ни слова не сказал. Завтра обязательно я с ней заговорю, что в этом особенно-го: мы ведь работаем в одном учреждении.

Габриэл ясно представил себе, как он заговорит с ней и познакомится. Как они идут вместе в кино... хотя нет, сперва в театр! Потом он приглашает ее в кафе. Постепенно они становятся все более близкими друг другу. В тот день шел дождь, улицы промыты... Они шли, слыша биение сердец друг друга. Потом остановились. Он едва слышно проговорил, что любит ее и обвил рукой ее стан. При этом видении по телу его пробежала приятная дрожь. Он перевернулся на другой бок. Она прильнула к нему и на глазах ее выступили слезы радости. Он расцелует ее глаза, лицо, ее белую, нежную, как хрусталь, шею... Скажет, что они будут любить друг друга до самой смерти, что у них будут

дети, девочки и мальчики, что они будут счастливы и никогда не расстанутся...

— Эх, — вздохнул Габриэл, — в нашей маленькой комнатухе мы с мамой еле помещаемся, если даже она и правда согласится стать моей женой, куда я ее приведу, что делать с мамой... Впрочем, все устроится, мама на время перейдет к родственникам, а там, может, я и квартиру получу...

Габриэл снова перевернулся на другой бок и устался в стену. Вот они выходят из Дворца бракосочетания, садятся в машину, всеобщая радость, веселье. Габриэл чувствует, что от него что-то скрывают, и он находится в радостном предчувствии еще какого-то счастья. Машина трогается, они едут в направлении к Сабуртало¹. Куда мы едем? — думает Габриэл, и уже догадывается, что должно произойти. Они останавливаются перед новым многоэтажным домом. Кто-то распахивает дверцу машины, Габриэл выходит и помогает выйти Мэри (или Манане). Улыбающийся Петрэ вручает ему ключи от новой квартиры. Обрадованный Габриэл смотрит на Мэри (или Манану), у которой от безграничного счастья глаза сияют, сверкают, горят. Габриэл поднимает ее на руки. Мэри (или Манана) обвиняет его шею руками, и так они поднимаются на третий этаж.

— Этого я, пожалуй, не смогу сделать, в последнее время сердце что-то... впрочем, тогда, наверное, смогу! — подумал Габриэл.

Они поднялись на третий этаж, Габриэл знает номер их квартиры, отпирает дверь... правда, замок что-то капризничает... Нет, ничего, замок прекрасно открывается, и они входят в уютный холл.

— Эх, — вздохнул Габриэл, — чего они так тянут строительство!.. Хотя, это мне так кажется, потому что я жду.

Вбегают товарищи, у всех радостные, веселые лица. Открывают шампанское, поздравляют новобрачных. Комнаты пустые, впрочем, нет, вся квартира обставлена прекрасной мебелью. Это уже слишком, мебель-то он

¹ Один из районов Тбилиси, где много новостроек.

мог бы и сам приобрести. Маро не выдерживает, подходит к нему, и шепчет на ухо:

— Тебя повысили, назначили начальником отдела, и зарплату прибавили, — Маро смеется, — приказ я собственными глазами видела, секретарша клала его в дело. Манане (или Мэри) тоже прибавили зарплату, что ж тут такого? — говорит Маро. Габриэл молчит. Такое обилие счастья может плохо на него подействовать.

Он снова повернулся. Лучше прекратить эти пустые мечтания. Утром надо рано встать и отправиться на службу. Неудобно опаздывать. Получу выговор. Может, даже ничего и не скажут, но все равно, зачем опаздывать из-за каких-то бесплодных мечтаний. Лежу и думаю о жене. Жена! Разве в этом счастье? Это просто желание, заложенное в нас природой. Счастье — совсем другое. Счастье люди создают сами. Вот он и создаст свое счастье. Счастливую жизнь. Если ему попадется хорошая жена... Опять жена!.. Сон пропал. Он долго вертелся в кровати, только к утру, когда стало светать, удалось уснуть. И приснился ему сон...

Мать проснулась оттого, что он во сне что-то говорил, бормотал. Проснулся и Габриэл. Приподнялся, почесал голову. Рассказать матери этот сон или нет?

— Ты опаздываешь, сынок, уже девять часов.

— Ничего, — отозвался он с улыбкой и опустил голову на подушку.

Мать промолчала, но поняла, что с сыном что-то творится и направилась в кухню.

Габриэл полежал еще некоторое время, потом вскочил, как сумасшедший.

— Я опоздал, опоздал, черт возьми! — бормотал он, торопливо натягивая на себя одежду. — Впрочем, — подумал вдруг он, — я уже опоздал, так что лучше побриться и идти так. Нельзя же небритым предстать перед Мэри (или Мананой)! Да что я болтаю, разве мне сейчас до нее, я опаздываю! — и он снова стал одеваться. Умылся. Посмотрелся в зеркало. Нет, нельзя: надо побриться.

Он побрился. Потом надел новый выходной костюм, прижал к груди удивленную мать, расцеловал ее и сказал:

— Все будет так, как ты хочешь.

Улицы были залиты солнцем. Ребятишек с сумками и ранцами, каждое утро шумно бежавших в школу, уже нигде не было видно. Магазины пооткрывались... Габриэл остановился, огляделся. Как странно все выглядит... Когда я выхожу из дому, улица только-только пробуждается, а теперь утро уже на исходе, еще полчаса — и утро кончится.

Габриэл ступил шаг, другой, потом еще и еще... и зашагал, постепенно ускоряя темп. Он ссутулился, и шел, размахивая руками, ни о чем не думая. По щеке скатилась капля пота. Он провел рукой по щекам, замедлил шаг. Что мне скажут на службе, когда я, наконец, туда явлюсь? — подумал он. — А я что скажу? Я, мол, думал? О ком? Какая глупость, черт возьми! Да что в ней такого, в этой девушке, что я даже в новый костюм вырядился... Как же ее звать? Манана или Мэри? Манана или Мэри?.. Он постепенно опять ускорил шаг и опять ссутулился. Да что со мной происходит? — Он остановился. — Чего я привязался к этой Манане или Мэри?!

Докуренная до мундштука сигарета обожгла пальцы. Он выкинул ее, достал новую, начал раскуривать. Долго стоял он в прострации, выкурил эту сигарету, потом еще и еще.

— А вообще лучше, чтобы она и вовсе меня не видела! — заговорил он вслух. Кто-то из прохожих приостановился, поглядел на него. Габриэлу стало очень стыдно, он двинулся вперед.

— Лучше вовсе не думать о ней! Жизнь должна пойти своим чередом. — Это тоже он произнес вслух и торопливо огляделся.

— Да что это со мной творится? — он остановился. Улыбнулся своим же словам, потом, испугавшись, чтобы не заметили, сделал серьезное лицо. К счастью, рядом никого не оказалось. — Ну, слава Богу! — подумал он с облегчением и не спеша направился к проектной конторе.

Он остановился перед подъездом, собрался с духом, потом осторожно, но с силой надавил на дверь. Дверь со скрипом растворилась. Васо, сидевший в углу за своим столиком, оглянулся. Его всегда хмурое, изуродованное шрамом лицо выразило что-то похожее на радость. Он встал и торопливо заковылял к Габриэлу.

— Габо-джан, ты слышал? Женщина полетела в космос! — воскликнул он, приблизившись к Габриэлу и протянул ему правую руку.

— Женщина — в космос? — удивился Габриэл, пожимая протянутую руку.

— Да, да, наверху такое творится, все слушают радио! — с откровенным восторгом продолжал Васо. — Молодец, женщина!

Ошарашенный Габриэл тоже улыбнулся. Вот тебе и на! Женщина полетела в космос! Некоторое время он стоял, улыбаясь, потом вдруг просиял: я должен ее видеть, обязательно должен видеть Манану (или Мэри)! Он обнял Васо, воскликнул: — Это прекрасно, дядя Васо, прекрасно! — потом сорвался с места и понесся вверх по лестнице — к корректорской.

ПАРИКМАХЕР В МАСКЕ

В детстве у меня так быстро отрастали волосы, что парикмахеры диву давались — не успеют остричь мои вихры, как я опять хожу взлохмаченный. Учителя сердятся, а мама хватается меня за руку и тащит в нашу парикмахерскую, к дяде Гургену. Тот всегда рад был стараться, только ножницы мелькали, да волосы во все стороны падали. Не могу ручаться, что ему доставляло особое удовольствие стричь именно меня, но помню, что всякий раз, окончив манипуляцию, он совал себе в карман хрустящую рублевку, с довольной ухмылкой приговаривая при этом — «вот так». После визита в парикмахерскую я обычно старался не попадаться на глаза своим сверстникам.

Внешность у меня была, правда, не идеальная, но и не такая, чтоб уж совсем плохая. Затылок подкачал — приплюснут был, да и уши не отличались особой миниатюрностью, зато волосы отлично скрадывали эти недостатки, никому бы и в голову не пришло сказать обо мне, что я некрасивый ребенок. После визита к дяде Гургену я менялся отнюдь не к лучшему: голышка моя представала во всей красе, уши торчали, как глубокие тарелки. «У тебя голова втиснута в уши», —

дразнили меня ребята. Разумеется, они шутили, но я страдал от этих шуток. Стриженный я и собственной матери не нравился, но она терпела, раз уж это было необходимо. «Что ж, малец еще, не в женихах ведь ходит», — утешала она себя. Но время бежало, и, представьте, очень скоро я стал женихом. К тому времени я был уже почти независимым юношей, студентом, и жил вдали от родных, в Тбилиси. Сколько я мечтал об этом в детстве: вот вырасту, стану студентом, и волосы отпущу подлинней, буду стричься, как мне захочется. Да только так не получалось: парикмахеры все, как один, остригали меня коротко, ну просто обчехриживали. Казалось, они на мне практику проходят. Стригли меня, как овцу весной. Кто-нибудь из товарищей в очередной раз тащил меня к своему мастеру, дескать, у него такая хорошая рука, пострижет тебя по-христиански. Я садился перед зеркалом, внимательно себя разглядывал и оставался весьма доволен: волосы прикрывали уши и затылок, придавая последнему приятную округленность. Нужно было лишь чуть-чуть подправить, подкоротить пряди. Но хваленый мастер, будто опасаясь, как бы клиент не сбежал, хватал ножницы, машинку и проворно, тщательнейшим образом кромсал мои волосы, и в основном — возле ушей и на затылке.

«Что ж тут поделаешь, друг, голова у тебя такая, новую поставить я не могу», — разводил он руками, в ответ на мое неудовольствие. Да еще усмехался, упрятывая деньги в свой карман так же, как дядя Гурген.

В конце-концов я нашел выход. Бросил ходить в парикмахерскую и сам заделался парикмахером. Встану, бывало, перед зеркалом, вооружусь безопасной бритвой и с грехом пополам подравниваю, подправляю свои лохмы так, как мне кажется это необходимым. Я уж и институт окончил, и в люди вышел: начал работать корректором в издательстве. Вместе с тем, — чего греха таить, лучше откровенно признаться, — потихоньку пописывал рассказы. Когда я счел себя достаточно поднаторевшим в этом деле, я отнес в редакцию довольно объемистый рассказ. Притом, пошел я туда не так уж, чтобы совсем без подготовки: работники редакции сотрудничали с нашим издательством и не

раз соблазняли меня, дескать, принеси что-нибудь, напечатаем. Вот я и отнес.

Рассказ прочитали члены редколлегии.

Один из них сказал мне: «Начало не годится. Куда лучше начинать вот отсюда», — и бесцеремонно перечеркнул по диагонали четыре первых страницы.

Второй сказал: «Конец, знаешь, чего-то не того... Гораздо лучше поставить точку вот здесь», — и, глазом не моргнув, швырнул последние пять страниц в корзину.

Третий забраковал середину рассказа и тоже отправил в корзину страниц пять (уж и не помню точно, может, больше, может, меньше).

В таком улучшенном виде рассказ был опубликован.

Кто не испытал радости первой публикации, тот не поймет меня, но коль скоро каждый из нас испытал в жизни счастливые минуты осуществления своей мечты, я смело поделюсь с вами своим восторгом. Да, да, именно восторгом! Я был на седьмом небе. Близкие поздравляли меня, друзья-приятели таскали по ресторанам, и несколько человек осмелились робко высказать свое мнение: здесь было бы лучше сказать вот так, а там, вот этак.

Весть о моей первой публикации прогремела в писательском мире подобно ружейному выстрелу. Разумеется, дошла она и до ушей главного редактора нашего издательства.

Вызвал он меня к себе.

Я явился. Стою перед ним и думаю: ну что ж, дорогой шеф, теперь-то ты, небось, согласишься дать мне повышение? Вот, брат, произведи меня в редакторы. А ты что думаешь, и талант у нас имеется, и вкус, и умение...

Должен вам сказать, что главный редактор был человек неплохой и отличался начитанностью, к тому же и дело свое знал.

Он подал мне руку. Поздравил. Пригласил сесть. Сел я. Спросил разрешения закурить и закурил. Он тоже закурил. Он вот уже тридцать лет писатель. По его произведениям я родную литературу учил, очи меня, и не только меня, воспитывали. И вот этот человек

сидит и смотрит на меня. Чувствую, он сейчас скажет мне что-то важное, и в голове у меня тысяча всяких мыслей вертится: может, он решил издать мой рассказ отдельной книжкой, с моим портретом на обложке... или, может, в сборник включит, а может, в антологию, или и туда, и сюда... А редактор все смотрит на меня спокойно. Потом встал, прошелся по кабинету туда и обратно и говорит:

— Твой рассказ похож на плохо постриженного человека. Человек-то сам и не такой уж некрасивый, но изуродовал его парикмахер, и вылезли уши-тарелки, плоский затылок, — и тут он на меня уставился, точно разглядеть хотел, какой формы у меня голова, и добавил — твой рассказ был бы вовсе неплох, но...

Настроение у меня ужасно испортилось. И вообще я застыл как-то, точно одеревенел. Сигарета обожгла мне губы, потом пальцы, а я все молчу и гляжу на него, разинув рот. Наконец я поднялся, направился к дверям. Тут, вижу, он мне рукой знак какой-то, что ли, делает. И слышу, говорит:

— Да, кстати, чего это ты волосы так отпустил, даже неудобно. Подкороти чуток, слышишь?

— Да, — говорю, — слышу, — и вышел от него совершенно ошарашенный, раздавленный. Куда подевался давешний задор! Единственным моим желанием было подстричь волосы и полюбоваться на свои уши-тарелки.

Стоял январь. День был солнечный, теплый, и я шел в пальто нараспашку, с расстегнутым воротом сорочки. Вошел в первую попавшуюся парикмахерскую. В ту пору по Тбилиси ходил грипп, и на парикмахерах были марлевые маски, что производило довольно странное впечатление. Эти маски, закрывавшие нижнюю часть лица, делали их похожими на хирургов. И, поскольку мне было все равно, к какому «хирургу» я попаду, я плюхнулся в первое же свободное кресло.

Парикмахер бережно расчесал мне волосы. Потом оглядел меня со всех сторон, и в фас, и в профиль, взял ножницы и — о чудо! Я точно заново родился на свет. Никогда я так себе не нравился. Затылок мой покруглел, уши уменьшились. Не помню, как я расплатился, как встал. От восторга и восхищения собствен-

ной красотой, я забыл обо всем и чуть не с криком выбежал на улицу: значит, возможно, чтобы тебя постригли по твоему вкусу, чтобы стрижка была тебе к лицу!

Этой радости мне надолго хватило. Осмелев, я накропал еще несколько рассказов. Целыми днями строил, черкал, рвал, снова писал, правил — словом, творил. Так прошло довольно долгое время. Как известно, волосы, какими бы редкими они ни были, все равно растут и удлиняются. И вот снова мне понадобилось стричься. Разумеется, теперь уж незачем было мучиться самому — ведь я нашел замечательного парикмахера. Засунув свои рассказы за пазуху, я двинулся в парикмахерскую.

Стоял февраль, на улицах было слякотно. Я гоголем прошел мимо группы стоявших на углу парней, — обитателей нашего квартала, и завернул в парикмахерскую. Эпидемия гриппа уже кончилась, и марлевых масок не было видно. Парикмахеры, лениво развалившись в креслах, скучали без работы, и когда я вошел, все оживилось. Но я целеустремленно направился к тому самому креслу, в котором был осчастливлен в незабываемый и благословенный день. Опустился я в это кресло, и вдруг встревожился: сердце что-то недоброе учуяло. Хотел я подняться, да не тут-то было: плотный, упитанный парикмахер схватил меня за плечо, вдавил в кресло, потом театрально взмахнул белой простынкой, накинул ее на меня и концы заткнул за шиворот.

В зеркале я увидел его сверкающие глаза и сомнений уже не оставалось — это был не он! Не тот благословенный мастер!

— Пожалуйста, вот здесь поменьше, совсем немножечко... — я несмело указал пальцем на ухо. Но кто меня слушал!

Я понял, что обречен и смирился с судьбой. Только раз я что-то беспомощно провякал — дескать, здесь не забирайте много, и потянулся рукой к уху.

— Знаю, кореш, знаю! — он ухватил меня за загривок и включил электробритву. Раздался отвратительный вой.

Я вам уже говорил, что со стрижкой мне не везло с детства. Каждый парикмахер стриг меня на свой лад, нисколько не считаясь с особенностями моей внеш-

ности. Но этот куафюр превзошел всех своих предшественников. Надо было видеть, с каким лицом он кружил вокруг меня, с каким азартом отхватывал ножницами мои бедные волосы, подбривал, подстригал, казалось, он соревнуется с кем-то в этой экзекуции и боится, чтобы я не выскользнул у него из рук. Ладонью одной руки он давил мне на затылок, не давая дух перевести, а электробритва царапала мне кожу головы и клоками снимала волосы.

Наконец он уговорился, дал мне возможность приподнять голову и, покосившись в зеркало на мое отражение, точно примериваясь еще к чему-то, спросил с жаром:

— Баки подкоротить, кореш?

Я закрыл глаза и сказал: что хочешь, то и делай, теперь уж все равно: И подумал: вероятно, в прошлый раз мне повстречался волшебник.

Вскоре я был отпущен на волю. Не буду описывать, в каком виде и состоянии вышел я из парикмахерской. Скажу лишь, что с того дня ноги моей в этих заведениях не было. И все же одно несомненно: человеку, как воздух, необходим хороший парикмахер, тем более — человеку творческому!

МАРИКА

Замыганный, пропыленный газик, проделавший, очевидно, неблизкий путь, свернул в проулок и остановился. Из кабины выпрыгнул парень, вытащил рюкзак и махнул шоферу рукой.

Было очень жарко. На дороге играли ребяташки. Появление газика на время прервало их игру.

На парне была сорочка с короткими рукавами, небрежно заправленная в джинсы, и грубые грязные ботинки.

Он неспешно зашагал вдоль домов, присматриваясь к номерам. Перед калиткой, выкрашенной в цвет весенней травы, он остановился и заглянул во двор. Первое, что бросилось ему в глаза, был куст цветущего олеандра. В этом дворе кругом цвели всевозможные цветы. Легкий ветерок чуть заметно шевелил листья

банана. Задумчиво стояли стройные кипарисы. Мощеная камнем тропинка, обрамленная розовыми кустами, вела к каменной же лестнице дома.

Парень нажал кнопку электророзводка.

На балконе появилась женщина, подошла к лестнице. За ней семенил малыш лет трех. Женщина остановилась, взяла ребенка за руку и спустилась с ним во двор.

На улице ребяташки возобновили игру, визжали, кричали, стараясь перекричать друг друга.

Женщина была в открытом сарафане, длинные черные волосы мягко лежали на золотистых плечах. Она подошла к калитке и, увидев незнакомца, смешалась и приостановилась.

«Боже мой, — подумал парень, — да ведь это Марика!».

— Кого вам нужно? — спросила Марика.

— Я... — парень вытащил из кармана конверт, — вот, это просил передать Дэви.

— Дэви?!

— Да. Я работаю... мы вместе работаем на строительстве.

На балкон вышла пожилая, все еще стройная женщина. С минуту она приглядывалась, кто стоит у калитки, потом крикнула:

— Марика, дочка, кто там?

— Товарищ Дэви, мама! — отозвалась та.

— Моего Дэви! — радостно воскликнула женщина и поспешно направилась к калитке. — Чего же ты, пригласи его войти!

Марика растворила калитку. Парень медлил, словно не решаясь войти. Наконец переступил порог. Подал Марике конверт.

Мать Дэви обняла его, поцеловала.

— Как мой сын? — спросила она. — Отчего же он сам не приехал?

Марика тем временем надорвала конверт, вынула письмо и углубилась в чтение.

— У Дэви все хорошо. Просто вчера приехал к нам начальник строительства и Дэви не смог уже отлучиться, — отвечал парень. — А я ехал в Тбилиси и вот...

— Это папино письмо? Мама, папочка прислал письмо? — малыш теребил мать, мешая ей читать.

Парень посмотрел на Марику. «Сколько времени я ее не видал. Вот, оказывается, где она, девушка моей мечты...». Он улыбнулся и потрепал по щеке малыша.

В тени, под деревьями, стоял стол, вокруг него, в беспорядке, — стулья. Тут же был растянут гамак.

Мать Дэви расставила стулья вокруг стола, взяла у гостя рюкзак, предложила сесть и пошла в дом.

Парень сел и подозвал к себе ребенка. Мальчик, заложив ручонки за спину и приоткрыв ротик, во все глаза глядел на мать.

— Поди, детка, подойди к дяде, — сказала та, на мгновение оторвавшись от письма.

Мальчик несмело приблизился к гостю. Тот поднял его на руки и посадил к себе на колени.

— Но, лошадка, поскакали! — имитируя цоканье копыт, вступил в игру парень.

— Вы направляетесь в Тбилиси? — обратилась к нему Марика, закончив чтение.

— Да, у меня дело в проектном институте.

«Она почти и не изменилась. Такая и была восемь лет назад. Тогда она училась в Институте иностранных языков...».

— Еще! Поскакали!.. — напомнил о себе малыш.

— Будет тебе, Дато! Дядя устал. И правда, отдохнули бы у нас, до вечера времени много, — взглядывая на него, предложила Марика.

— Спасибо, я хочу сходить на море.

— На море! Ой, я тоже! — обрадовался малыш и, соскочив с колен гостя, побежал к дому.

Оба, и Марика, и гость поглядели ему вслед, потом друг на друга и улыбнулись.

«Эта улыбка!.. Интересно, помнит она меня?».

— Я так и не удосужилась приехать к вам на стройку... хотелось посмотреть, как вы там живете, — проговорила Марика.

— Живем, как подобает строителям. Хорошо живем, — он снова улыбнулся.

Появился малыш, волоча за собой огромного резинового крокодила и радостно крича: «А вот что у меня есть!».

Марика извинилась, встала и направилась к дому. Парень проводил ее взглядом.

Малыш развлекал его: рассказывал, как они с отцом поймали рыбу; как катались на лодке.

«...Дэви окончил институт несколькими годами раньше Марики. Теперь он начальник участка строительства дороги. Сам он родом отсюда, с побережья. С Марикой познакомился, наверное, в Тбилиси...»

Вышла мать Дэви с подносом в руках. На подносе — сковорода с яичницей, гоми, сулгуни, хлеб, жареная рыба и графинчик с водкой.

— Перекуси пока, сынок, а потом, к вечеру, станет прохладнее и пообедаем как следует. Я так обрадовалась, будто бы мой Дэви приехал...

— Не желаете умыться? — предложила Марика, неся мыло и полотенце.

Он глянул на свои руки, кивнул головой, встал и последовал за Марикой. Малыш тоже посмотрел на свои ручонки и заявил: — а разве я не хочу вымыть руки?

...Внезапно ему вспомнился давнишний случай. Он встретил Марику на улице, преградил ей дорогу и с жаром проговорил: «Ради тебя я все сделаю, мир переверну!». Марика испуганно глядела на него широко раскрытыми глазами.

Он умылся, взял полотенце.
«Интересно, помнит она меня или нет? Помнит?..».

Потом они сидели за столом.
Малыш проказничал, всячески стараясь привлечь к себе внимание. Марика временами хмурилась, но все же выполняла его желания. Мать Дэви без умолку говорила о сыне, хвалила его, нахвалиться не могла. Единственное, в чем она его упрекала — редко, мол, приезжает, редко бывает дома, но тут же добавляла — разве он виноват, без него там не могут.

Гость ел, явно стесняясь. Малыш с любопытством следил за каждым его движением.

«Будь я ее мужем, я бы ни на минуту ее не оставлял, а Дэви пропадает где-то у черта на куличках, дорогу строит...» — подумал он.

После завтрака ему предложили отдохнуть, проводили в комнату, где было прохладно и стояла кро-

вать. Он разделся, лег, укрылся простыней из легкой прохладной ткани. Дверь на балкон осталась полуоткрытой, окно — распахнуто, и оттуда, со двора, в комнату проникал тонкий, неназойливый аромат цветущего олеандра.

Он растянулся на постели и предался мыслям о сегодняшнем дне — счастливом дне.

Внезапно заскрипела дверь. Он притворился спящим, но почувствовал, что вошла Марика. Едва уловимый нежный запах, исходивший то ли от ее волос, то ли от тела, ошеломил его. Зашлось и сладко защемило сердце. Марика что-то взяла со стула и на цыпочках, как и вошла, удалилась. Он открыл глаза и взглянул на стул. Ни сорочки, ни джинсов, которые там висели, и на полу нет его запыленных, выдавших виды грубых ботинок. «Унесла?! Дэви счастливейший человек. А я — точно, как говорит мой дядя: уж если понравилась женщина, обязательно у нее на пальце окажется обручальное кольцо».

...Когда он снова открыл глаза, на стуле висела его одежда, чистая и выглаженная, а на полу стояли начищенные до блеска ботинки. Он посмотрел на часы. Время давно перевалило за полдень. «Все-таки я заснул», — подумал он с какой-то непонятной досадой. Встал, оделся, обулся. Вышел во двор.

— Пойдем на море, да?! Скорее пойдем! — бросился ему навстречу малыш.

— Пойдем сейчас же! — улыбнулся парень.

Марика с улыбкой, почтительно осведомилась, хорошо ли гость отдохнул. Мальчик, пыхтя и сопя, волок по земле резинового крокодила. Парень забрал у него игрушку, подхватил под мышку. Они вышли на улицу и направились к морю.

— А ты ловил рыбу? Мы с папой поймали во-от такую! Когда папочка приезжает, мы целый день живем на море!

Марика молчала.

И вот оно показалось... лазурно-голубое с серебром, оно как бы замерло, а вдали, как нарисованный, чернел сейнер. Мальчик радостно запрыгал.

Городок был не курортный, потому дачники на пляже располагались свободно, без обычной тесноты. Ма-

рика расстелила на раскаленном песке циновку, уселась и стала раздевать мальчика.

Парень подошел к воде. Долго глядел на бескрайний простор. Над сейнером кружили чайки.

— Почему ты не раздеваешься, дядя? — донесся знакомый голосок.

Парень оглянулся. Малыш голенький бежал к нему, плутовато улыбаясь. За ним шла Марика, уже в купальнике, и тоже улыбалась.

«Господи, какая же она прекрасная! — подумал он, и мысль тотчас переметнулась к Дэви. А он взрывает скалы в горах Сванэти... или на берегу Энгури... обожженный солнцем и ветром, пропыленный...».

Марика прошла мимо него. Он снял сорочку. Марика с сыном вошли в море. Волна то и дело накатывала на мальчика, тот хохотал и звал «дядю».

Он переоделся в купальные трусы, вошел в воду, взял мальчика на руки. Ребенок обвил ручонками его шею, не выпуская своего крокодила. Марика приблизилась к ним, она была совсем близко, совсем... Он очень старался не коснуться ее ненароком. Потом они вышли на берег, — Марика с мальчиком, — и уселись на свою циновку.

Он поплыл в глубь моря. «Скорее! Подальше от берега, прочь!..» — думал он и, захватывая воздух, вглядывался вперед. Сейнер стал постепенно приближаться.

Он почувствовал, что устал, повернулся на спину и лег, раскинув руки, расслабившись.

* * *

О, какое блаженство — отдых... Вдохнешь глубоко, нырнешь, постепенно выдыхая воздух, и вынырнешь, и снова — вдох... Интересно, помнит ли она меня? Помнит мое имя?.. Дэви... Энгури ревет, весь в белой пене, несмолкаемый гул в ущелье... Грохот взрыва — и в реку с шумом сыплются обломки скал...

— Эмзар!

Он прислушался.

— Эмзар! — снова донесли волны.

Он повернулся к берегу, не веря ушам. Море ослепительно сверкало в лучах заходящего солнца. Он

приподнялся на воде. Там, на берегу, кто-то стоял и махал рукой.

«Это Марика», — подумал он, и поплыл обратно. «Иду, иду», — мысленно отозвался он.

Он вышел на берег едва не шатаясь от усталости. Марика лежала на циновке. Малыш бросился к нему навстречу, радостно хлопая в ладоши. Марика села.

Парень распростерся на песке.

— Как ты далеко уплыл! — восторженно проговорил мальчик, пристраиваясь рядом с ним. — Папочка так далеко не плавает.

Парень глубоко дышал.

«Мне слышалось... Конечно, слышалось...»

Мальчик колотил его по груди своими кулачками, пытаясь втянуть в игру, потом улегся рядом.

* * *

Вечером, когда разом сгустились тени, Марика с мальчиком и мать Дэви проводили его до главной улицы.

— До свиданья, сынок! Обязательно заезжай к нам на обратном пути из Тбилиси.

— До свиданья, — Марика улыбнулась, потом сказала сыну: — Пожми дяде руку на прощанье, детка.

Мальчик, как часто делают взрослые мужчины, с размаху хлопнул своей ладошкой по его протянутой навстречу ладони.

Вечер был удивительно тихий. Зной улегся. Издалека доносился глухой шум прибоя. Парень задумчиво шел по тротуару. Порабнявшись с цветущим олеандром, он притянул к себе ветку, понюхал цветы.

«Никакого запаха, но красивые. Нет, Марика не помнит мое имя. Студенческие годы она помнит... Помнит, что многим нравилась... Но ей понравился Дэви. А Дэви строит дорогу... и по вечерам в своей комнате, верно, любит на фотографию жены и сына...»

Невдалеке загудел электровоз. Он очнулся от мыслей и ускорил шаг.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

ВСТРЕЧА

Столик слабо освещен: лампочки, прикрытые резными плафонами, излучают бледно-красный свет; весь зал — с арками, с расписанными под Пиросмани стенами, освещается такими лампочками. Этот ресторан национальной грузинской кухни открылся совсем недавно, и Коба, Лео, Гиви и Нодари, получив стипендию, поспешили сюда. За низкими столиками сидят мужчины, пьют вино и громко разговаривают. Нигде ни одной женщины; официанты, тоже мужчины, быстро спуют между столиками с подносами в руках. Вино здесь подается в кувшинах. Друзья уже выпили один кувшин, и им принесли второй. Они повеселели, и теперь то негромко поют, то по очереди рассказывают разные истории. Лео, по своему обыкновению, все время оглядывается по сторонам.

— Ребята, на нас с соседнего столика смотрят: видно, мы им нравимся. Давайте еще споем! — сказал Лео и открыл было рот, но друзья остановили его: знали, что со слухом у него туго.

За соседним столиком сидело трое мужчин. Они пришли недавно, заказали шашлык и кувшин вина. Один из них, с небольшими черными усиками, с самого начала показался Кобе знакомым. Он был в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, и в до блеска начищенных хромовых сапогах.

Гиви вздохнул поглубже, склонился к Кобе и затянул песню. Лео стал ему подпевать, то и дело поглядывая на соседний столик.

— Давайте выпьем за нашу щедрую грузинскую землю, — поднял Гиви полный стакан, когда кончили петь. — За наши горы и равнины, сады и виноградники, за грузинский народ, за его славных сынов...

— За Сталина! — выкрикнул Лео и выжидательно покосился на Кобу.

— Пей, пей — не робей! — подбодрил его Коба и тоже поднял стакан.

Вдруг у соседнего столика раздались взволнованные восклицания: все трое мужчин встали, мужчина в солдатской гимнастерке стоял навтыяжку со стаканом

в руке и с сияющим лицом обращался к молодым людям:

— Молодцы, вы отличные ребята! Сейчас пятьдесят восьмой год. А пятнадцать лет назад... Вот, видите? — Мужчина в гимнастерке поднял вверх правую руку. — Я был ранен там, в битве за Сталинград...

Кисть правой руки у него была изуродована, на груди — ордена и медали. Говорил он с пафосом и часто поглядывал на Кобу. Мужчины выпили и сели; какое-то время взволнованно о чем-то разговаривали, потом решили выпить за молодежь — и опять встали. Мужчина в гимнастерке потрясал кулаками, кому-то угрожая, потом стал давать молодым людям какие-то наставления. Наконец, они выпили. Чем больше Коба вглядывался в лицо человека в гимнастерке, тем более знакомым оно ему казалось.

— Вы, случайно, не Ноэ? — не утерпев, спросил он, уловив минуту. — Я — Коба, Чипашвили...

Мужчина в гимнастерке, будто протрезвев, какое-то время тарачил на него глаза, потом буркнул что-то и повернулся к своим товарищам. Коба вернулся за свой стол. Не успели они выпить по стакану вина, как их соседи неожиданно поднялись из-за стола и направились к выходу.

— Я сейчас! — крикнул Коба друзьям и тоже вскочил.

Он хотел выяснить, действительно ли этот мужчина в гимнастерке — Ноэ. Поведение его удивило Кобу: он почувствовал, что этот взрослый мужчина явно его избегает. «Пойду за ним, — мелькнуло в голове. — Пойду и узнаю, где он живет». На улице было уже довольно темно. Коба вслед за мужчинами направился к стоянке такси. Когда он подошел, мужчина в гимнастерке как раз садился в такси. Коба подбежал, рванул дверцу и тоже сел в машину: «Мне в вашу сторону, батоп Ноэ». Мужчина в гимнастерке молча взглянул на него, отодвинулся к противоположной дверце и уронил голову на грудь. Коба чувствовал, что Ноэ не хочет с ним разговаривать — и тоже не находил слов, так они и ехали молча. Вскоре такси въехало в район Ваке, на улицу Чиковани. Мужчина в гимнастерке выглянул в окно, попросил шофера остановить и протянул деньги.

— Я заплачу! — Коба перехватил его руку.

— Да ладно, какая разница? — буркнул Ноэ, открыл дверцу и вышел из машины.

Коба проводил попутчика взглядом: хотел узнать, в какой дом он войдет. В это время мужчину в гимнастерке нагнали, видимо, жена с дочерью. Они возвращались откуда-то и, громко смеясь, стали что-то рассказывать Ноэ, потом оглянулись на такси. Коба с удивлением узнал девушку: она тоже училась в Сельскохозяйственном институте. Коба встречал ее в коридоре второго корпуса, когда у него бывали там лекции.

«Если этот мужчина в гимнастерке действительно Ноэ, то его дочь — Манана!» — такси тронулось с места и проехало совсем рядом с ними. Девушка проводила машину удивленным взглядом. «Манана... Помнит ли она меня?» — подумал Коба и оглянулся, но на тротуаре уже никого не было: видимо, они вошли в какой-то дом.

* * *

Утром Коба проснулся не в духе, долго лежал в постели и смотрел в потолок. Было воскресенье, и спешить было некуда. Из головы не выходили Ноэ и его дочь. Потом он решил встать и посмотреть альбом с фотографиями — там должна была быть фотография Ноэ.

Дядя Ноэ был среднего роста, с черными, коротко подстриженными усиками, маленькими пронзительными глазками и с небольшой горбинкой на носу. Они жили когда-то по соседству. У Ноэ была дочь, Манана, на два года младше Кобы. Дети были неразлучны: выносили во двор стулья, столик, кукол и целыми днями вместе играли в «домики»: Манана была мамой, Коба — папой, а многочисленные Мананины куклы — их детьми. Манана была очень строгой и требовательной мамой и супругой — повторяла все, что слышала у себя дома.

Коба же стремился внести в игру характер взаимоотношений, принятый в их семье. Отец Кобы вставал очень рано, делал с детьми во дворе зарядку, потом все вместе умывались у крана; за завтраком отец обычно просматривал свежие газеты, сопровождая чтение различными восклицаниями, иногда сердито сжимая кулаки.

Потом уходил на работу. Военный комиссариат находился рядом с домом. Сослуживцы встречали его в коридоре по стойке смирно... Так начинался рабочий день отца. После работы, если его не задерживали служебные дела (что случалось довольно редко), он возвращался домой, обедал, и, полежав немного на тахте, опять брался за газеты или за политические и военные книги... Обучал сыновей борьбе. Мэлси был старше Кобы на два года и нередко нарочно поддавался брату. А отец весело смеялся и громкими возгласами подбадривал сыновей.

Мать Кобы была скромной, безобидной женщиной. Довольствовалась одним платьем и парой туфель. А детям сама перешивала из старой отцовской одежды. Но, побывав у соседки, тети Оли, и насмотревшись у нее на разные платья, случалось, высказывала мужу недовольство:

— Я все шью да перешиваю — сил моих больше нет. Ты посмотри на Ноэ...

Подобные разговоры очень сердили отца:

— Неужели я, комиссар, в то время, когда люди гибнут на полях сражений, когда родина в опасности... неужели я должен добывать вам тряпки?! А Ноэ... Я ему покажу!.. — и действительно не давал спуску дяде Ноэ.

У Кобы с Мананой часто бывали размолвки: Манана капризничала, а Коба, подражая отцу, «проявлял характер» и кричал. Но они очень быстро мирились, так как других детей во дворе не было, а Мэлси все время рисовал и не снисходил до того, чтобы играть с малышами.

Вскоре к их игрушкам прибавился телефон. Случилось это так: дяде Ноэ удалось поставить в квартире телефон. Вскоре провели линию и к комиссару, но он наотрез отказался: не нуждаюсь, дескать, в этом предмете роскоши, а для служебных дел—вон он у меня на работе стоит. И действительно, тут же, неподалеку, в дежурке комиссариата, стоял телефонный аппарат, у которого круглосуточно находился дежурный. А дядя Ноэ и ухом не повел: комиссару не нужен, а мне нужен. С этого времени Коба с Мананой тоже стали играть в телефон: привяжут к спичечным коробкам нитку, сядут в противоположных концах двора, при-

жмут коробки к уху и дергают за туго натянутую нитку. Дядя Ноэ, увидев это, достал где-то игрушечный телефон...

Коба вскочил с постели, подбежал к шкафу и достал альбом с фотографиями. Он уже не сомневался, что этот мужчина в гимнастерке — дядя Ноэ, но Манана... На первой странице альбома были фотографии родителей: слева — улыбающаяся мама, очень молодая, справа — отец, а на нижней фотографии они сидят вдвоем, щека к щеке, отец — в курсантской форме — это они снялись на второй день после свадьбы.

На следующей странице появляются их дети: сначала Мэлси, потом Коба, оба голенькие, причем у обоих четко выделяются доказательства принадлежности к мужскому полу. Коба засмеялся: и зачем детей так снимают, неужели и без того не ясно, где мальчики, где девочки? Но, по словам матери, отец очень любил эти фотографии. Он все повторял: «Мальчики, мужчины! Сыновья Иакинте Чипашвили будут нужны везде...»

Видно, война помешала, а то было бы у меня еще несколько братьев, — подумал Коба и перевернул следующую страницу альбома. Тут им с Мэлси уже пять и семь лет: они в матросских тельняшках, на головах — испанские шляпы (они в то время были в моде). Следующую страницу переворачивал, затаив дыхание: наизусть знал, что за чем следует. Здесь на фотографии — они с Мананой: Манана держит двух кукол, а Коба не любил брать «детей» на руки... Манана... Интересно, помнит ли она меня? Если они сохранили эти фотографии — то, наверно, помнит. Особенно весну 1944 года, день нашего прощания.

От отца с фронта не было никаких вестей, мать начала работать. Они, конечно, могли уехать в деревню к дедушке, но мать говорила: «Не хочу менять вам школу, учителей». Настоящей же причиной, как узнал Коба позднее, было то, что отец давно поссорился с дедом. В молодости отец был комсомольцем и возглавлял коллективизацию в своей деревне — из-за этого и поссорились отец с сыном. Дедушка заявил: «Ты что, хочешь настроить против меня всех односельчан?!» Отец уехал из деревни, сказал отцу на прощание: «Как бы трудно мне ни пришлось в жизни — в вашу дверь

не постучусь. Мы скоро построим социализм, потом коммунизм — и проживем счастливо...». Но началась война, жизнь подорожала, и все стали опять тянуться в деревню. Однако отец упрямо стоял на своем. А когда уходил на фронт, наказал матери обращаться к родственникам за помощью только в самом крайнем случае.

Дедушка прислал несколько писем, звал в деревню, но мать выполняла наказ отца. Вскоре дедушка получил похоронку на старшего сына, и от отца Кобы не было вестей. Сердце старика не выдержало: сыновей потерял, хоть за внуками присмотрю — решил он. Вот и его фотография: дорогой наш седоусый дедушка, весело смеющийся, с оршимо¹ в руках. Он скончался три года назад, успел порадоваться на взрослых внуков...

Почехав, дедушка осыпал мать упреками: «Что же ты, невестушка, наделала? Совсем заморила детей. Смотри, какие худые и бледные. У меня, слава богу, мчади, сыр и лобно всегда есть в доме... Все для вас сделаю. Сейчас же собирайтесь!»

Мама не стала возражать, тем более, что Коба и Мэлси буквально прыгали от радости. И вот настал час прощания с Мананой. Дядю Ноэ перевели с воинской частью в Баку, и тетя Оля очень боялась, что его скоро отправят на фронт. Она всячески старалась поддерживать с матерью Кобы хорошие отношения, но мать почему-то была с ней очень сдержана. Когда они уезжали, тетя Оля всплакнула, а Манана разразилась громким ревом.

На следующей странице — та фотография, на которой есть дядя Ноэ. Это было перед войной. Отец лежал вечером на тахте и читал газету. Вдруг раздался топот сапог — пришел Федор, однорукий, сутулый мужчина с пышными седыми усами и красным курносым носом. В комиссариате была лошадь, которую впрягли в телегу, и Федор был приставлен к этой лошади. Он, правда, любил пропустить стаканчик, но был человеком безотказным и беспрекословно выполнял любые поручения. И последнее поручение комиссара —

¹ Оршимо — выдолбленный из тыквы ковш для черпания вина.

присматривать за его семьей — исполнял так же добросовестно. А когда приехал дедушка, он, даже не спросившись у нового комиссара, запряг лошадь в телегу, сложил на нее пожитки, сверху посадил детей — и отвез на станцию.

«Товарищ комиссар, там, в дежурке, вас дожидается какой-то летчик», — сказал Федор, входя в комнату, и добавил: — «У него где-то здесь поблизости аэроплан испортился».

— Летчик?! — удивился отец и поспешно встал.

Тем временем мать достала водку, и Федор покопился в ее сторону. Отец торопливо надел гимнастерку, затянул ремень, надел фуражку и быстро вышел из комнаты. Федор проводил его взглядом, потом взял стакан, перекрестился, одним махом опрокинул водку и поспешил за комиссаром.

В тот вечер отец вернулся поздно. На следующий день было воскресенье. Военный летчик перепочевал в комиссариате, а утром Коба, Мэлси, отец и тот летчик вместе делали зарядку у них по двору, потом умывались. Красивый парень был этот русский летчик: рослый, статный. Отец пригласил его на чай. Он пошел одеться и принес колбасы и шоколада. После завтрака во двор вышел дядя Ноэ с женой и дочерью, и они все вместе пошли смотреть аэроплан. Ноэ и фотографа прихватил — вот тогда и были сделаны эти снимки. Отец и тот летчик сидят на корточках, а дядя Ноэ стоит сзади и улыбается: усики, маленькие глазки, нос с горбинкой. Коба всмотрелся в фотографию — сомнений быть не могло: тот мужчина в гимнастерке был дядя Ноэ. Коба опустил на стул, прислонился к спинке. Видно, после Баку дядю Ноэ отправили на фронт, и он был ранен под Сталинградом... И вдруг его осенило: ведь к тому времени, когда дядю Ноэ перевели в Баку, Сталинградская битва была закончена и Паулюсу уже свернули шею...

Коба встал, заходил по комнате. Неужели это был не Ноэ? В голове у него все перепуталось. Он опять взялся за альбом. На глаза попался снимок Мэлси, где он стоит рядом с вылепленной им скульптурой.

Рисовал Мэлси с детства, и лепить начал еще в деревне. Они прожили в деревне семь лет, и все это время дедушка, разумеется, без дела сидеть им не да-

вал. Заказал для них у кузнеца маленькие тяпки и брал с собой в поле — мотыжить кукурузу и на виноградник. А благословенная деревенская земля была сплошь красная глина! Мэлси как увидел мокрую глину — сел и тут же, в поле вылепил голову деда. Старик долго вертел в руках собственное изображение, все удивлялся: надо же, как похоже! А вечером притащил большую корзину глины, вывалил в корыто и сказал Мэлси: «Вот, сынок, тебе глина, хочется лепить — лепи дома, а в поле работай, не выставляй меня на посмешище колхозникам».

Мать Кобы давно мечтала переехать в Тбилиси, чтобы дети могли учиться дальше. Но сказать об этом деду не смела — они ведь были единственной надеждой старика. Вскоре Мэлси закончил среднюю школу и уехал в Тбилиси — поступать в Художественную академию. Дед не мешал ему рисовать, но очень хотел, чтобы внук стал сельским специалистом — агрономом или ветеринаром — и сохранил связь с деревней. Три года спустя это его желание исполнил Коба — стал студентом сельскохозяйственного института.

Недалеко от деревни, в горах было озеро. По мнению местных жителей, оно кишело не только лягушками, но и драконами, чудовищами и разными гадами. Обычно его обходили стороной, но находились и такие, которым приходила в голову мысль поплавать в этом озере. Такое желание появилось однажды и у отца Кобы: он выдолбил лодку и долго упрямо разыскивал чудовищ. Эту лодку он еще в детстве забросил под амбар, а Коба теперь вытащил ее оттуда, и мать, к большому удивлению Кобы, не стала запрещать сыну плавать по озеру. Кобе тоже не удалось обнаружить в озере чудовищ, зато он прекрасно освоил греблю и, приехав в Тбилиси, отправился на Тбилисское море и записался в кружок гребли при водной станции. А когда сдал вступительные экзамены и был зачислен в институт, стал тренироваться в гребле на байдарках и вскоре достиг неплохих результатов.

Когда они приехали в Тбилиси, мать повела обоих сыновей к генералу: «Давид, дорогой! Вот перед тобой дети твоего друга, — сказала мать. — Я вырастила их сама, ни в чем им не отказывая и никого не беспокоя. Но теперь прошу помощи — нам нужна квартира».

Генерал улыбнулся и стал кому-то звонить. И через три года они получили трехкомнатную квартиру в новом доме в Сабуртало. На новоселье пришли друзья отца, тот генерал, родственники и, что самое главное, приехал из деревни нагруженный гостинцами дедушка.

Мэлси был на шестом курсе, когда преподаватель пригласил его работать к себе в мастерскую. С тех пор вот уже три года работает у него и ночует там же. У скульптора есть дочь, и, говорят, Мэлси к ней неравнодушен...

Коба любит бывать в мастерской у брата. Его и сейчас туда потянуло: пойду, думаю, узнаю, помнит ли Мэлси дядю Ноэ. Оставил альбом на столе и вышел на улицу.

* * *

Мэлси влез на стремянку и, громко насвистывая, энергично лепит.

— Привет! — окликнул его Коба.

— А, Коба?! Привет! — крикнул брат сверху и присел на ступеньку.

— Что это ты делаешь?

— Заказ. За наличные!

— Ты уже перешел на наличные?! — Коба пошел к лежавшему на столе эскизу.

— Что делать! Иначе невозможно... — Мэлси шлепнул об пол комок глины и слез вниз.

— Что это? — опять спросил Коба, указывая глазами на эскиз.

Мэлси подошел, потянулся к брату. Руки у него были вымазаны так, что казались вылепленными из глины, и лицо было все в крупных «родинках».

— Умоешься — тогда и поцелуемся, — сказал Коба, перехватив его руку выше локтя.

— Ну я и вымазался! — глянул на себя в зеркало Мэлси.

— Ты все же скажешь, что изображено на этом эскизе? — не отставал Коба. — Похоже на памятник погибшим.

— Я же говорю, что у меня брат — гений! — обрадовался Мэлси. — Это действительно памятник не-вернувшимся с войны...

— Ты Ноэ помнишь? — перешел Коба к делу.
— Какого Ноэ? С ковчега, что ли? — пошутил Мэлси.

— Я тебя спрашиваю о Ноэ, который работал с отцом.

— Конечно, помню! А ты что, встретил его?

— Да, но не знаю, он ли это...

— Да он, наверно, — Мэлси включил магнитофон.

— А ты откуда знаешь? — выключил магнитофон Коба.

— Встречаю его иногда, в гимнастерке ходит, — сказал Мэлси и глянул на брата. — За время войны выстроил себе сказочные хоромы...

— Ты с ним разговаривал?

— С кем? С этим прохиндеем?!

— Почему это он прохиндей? — изумился Коба.

— Да брось, ради бога... Плохой он человек! — Мэлси махнул рукой, подошел к белой бумаге, прикрепленной к стене кнопками, и вдруг обернулся к Кобе: — Тебе, наверно, Манану хочется увидеть!..

— А ты и ее видишь?

— Нет, ее не вижу. А она сейчас должна быть совсем недурна! — подмигнул Мэлси.

Коба промолчал.

— Старую любовь вспомнил? — рассмеялся Мэлси.

Коба опять промолчал.

— Манана, наверно, давно уже вышла замуж и назвала своего первенца твоим именем, — насмешливо поднял брови Мэлси. — Да, наверняка вышла замуж, у нее родилась девочка, но она все равно дала ей твое имя!

Коба с детства не переваривал шуточки Мэлси, поэтому предпочитал не связываться с братом, зная, что тот может испортить ему настроение на весь день, и сейчас стал молча листать какую-то книгу. Мэлси опять повернулся к стене и снял белый лист бумаги. Показался какой-то рисунок. Коба подошел поближе и удивленно присмотрелся к нему. Рисунок был выполнен карандашом. На нем были изображены два обнаженных разнополых человеческих существа. Они больше походили на животных, чем на людей: у обоих какие-то

одержимые, безумные лица; мужчина одной рукой обнимает женщину за талию, другой сжимает ей грудь.

— Что это ты, сумасшедших нарисовал? — взглянул на брата Коба.

— Похожи, да, на сумасшедших? — обрадовался Мэлси. — Вот это и есть творчество!

Коба подошел еще ближе: графически рисунок был выполнен великолепно.

— Знаешь, в такие минуты люди действительно становятся похожими на сумасшедших. Ведь так? Секс берет верх, он — главнее.

— Не думаю, чтобы секс был главным, — улыбнулся Коба и опять взглянул на рисунок. — Ты лучше не бумагой его прикрывай, а совсем сними.

— Почему? Тебе что, не нравится? — удивился Мэлси.

— Что он выражает?

— Нет, ты скажи, нравится тебе или нет?

— Ну, допустим, нравится!

— А раз нравится — этого достаточно! — Мэлси опять закрыл рисунок белым листом бумаги.

— Может, все же скажешь, что он выражает?

— Жажду обладания. Знаешь, что такое жажда?

* * *

Коба очень хорошо знал, что такое жажда: он жаждал увидеть Манану. И, как нарочно, в последние дни не встречал ее в институте. Время шло, и жажда его все возрастала. Он только и думал о встрече с Мананой, два раза даже прошелся по улице, где она жила. Но все напрасно.

В тот день студенты собирались в актовом зале института на встречу с целинниками. «Все для целины!», «Целина зовет!» — гласили лозунги. Какое-то время Коба постоял и покурил с друзьями на лестничной площадке, потом они с Лео прошлись по коридору. До начала оставались считанные минуты, а Коба не спешил в зал, надеясь увидеть Манану.

— Ты что, ждешь кого-нибудь? — спросил Лео. — Пошли, а то все места займут.

Вошли в зал, девочки из их группы заняли для них два места, и Коба с Лео направились к ним. Прохо-

дя между рядами, Коба еще раз оглядел зал — и замер на месте: в четвертом ряду сидела Манана.

— Когда же она вошла? — подумал Коба и сел на свободный стул рядом с Гулико.

Заседание началось, слово взял ректор...

Хоть бы Манана оглянулась. Как мне дать ей понять, что я — Коба? — вертелось у него в голове. — Вот встану и крикну: «Манана, ты помнишь, Манана?..» Что помнишь? Что она может помнить? Как мы вместе играли в детстве? И как она всегда была мамой, я отцом, а ее куклы — нашими детьми? Может, она помнит, как провожала меня и по-детски громко, навзрыд плакала? А может, помнит, как мы играли «в телефон»?! Коба достал из кармана спичечный коробок и спросил у Гулико, нет ли у нее ниток. Нитки нашлись у девушки, сидящей рядом. Коба принялся за дело, и вскоре самодельный телефон был готов. Гулико с интересом следила за его руками, а любознательный Лео поинтересовался, уж не собирается ли он играть «в телефон».

— Иамзе, — шепотом окликнул Коба сидящую впереди девушку, — передай вон той девушке в четвертом ряду.

— Кому, Манане? — переспросила Иамзе и взяла коробок.

— Да, Манане. Ее ведь Мананой зовут?

Иамзе кивнула, осмотрела коробок и передала сидящему впереди парню. Парень, видимо, хохмач, взял коробок с привязанной к нему ниткой, приложил к уху и зашептал: «Алë! Алë!»

— Передай вперед! — сердито зашипел Коба.

— Кому? Ей? — спросил парень и положил руку на плечо Манане.

Манана оглянулась, парень протянул ей коробок. Манана пожала плечами и отвернулась, но парень не отставал, снова протянул ей коробок, сказав, что это от Кобы. Девушка сердито взяла коробок и хотела выбросить, но вдруг, как будто вспомнив что-то, внимательно оглядела его со всех сторон и что-то сказала сидевшей рядом подруге — девушка засмеялась и оглянулась. В зале стало шумно, и председатель заседания зазвонил в колокольчик. Шепот и смех прекратились.

Манана пригнулась и приложила коробок к уху. Коба натянул нитку и поскреб по ней пальцем. Манана послушала немного, потом удивленно, с загоревшимися глазами, оглянулась назад, будто ища что-то давно потерянное — и встретила глазами с Кобой. Какое-то время они, как зачарованные, смотрели друг на друга. Коба так разволновался, что не мог вымолвить ни слова — язык словно одеревенел.

Вскоре объявили перерыв. Студенты шумно вставали со своих мест, выходили в коридор. Манана тоже встала, оглянулась на Кобу, улыбнулась ему и направилась к выходу. Коридор заполнился студентами. Они ходили взад-вперед, громко переговаривались, курили. Коба подошел к Манане:

— Здравствуй, Манана! Кахетию помнишь? — сказал он, пожимая ей руку, потом поздоровался с ее подругой.

— Кахетию я никогда не забуду, — улыбнулась Манана. — И детей, что жили по соседству с нами, прекрасно помню, но не знала, что это ты.

— И я не знал, — подхватил Коба. — Несколько дней назад догадался...

— В тот вечер, когда ты отца подвез? — вспомнила Манана, — Ты, наверно, тогда уже знал, да? А отец ничего не сказал...

— Дядя Ноэ не узнал меня, и я тоже сомневался, но когда я увидел вас с тетей Олей... — Коба улыбаясь смотрел на Манану. — Тетя Оля совсем не изменилась.

Манана тоже улыбнулась. К ним подошел Лео, положил Кобе руку на плечо и с сияющим лицом уставился на девушек.

— Познакомься, Лео, — обернулся к другу Коба и указал на Манану. — Это подруга моего детства, мы вместе выросли и все время вместе играли. А это ее подруга.

Лео недоверчиво воззрился на друга, думая, что тот его разыгрывает: ведь Коба прежде не раз говорил ему, что эта девушка очень ему нравится, и он хочет с ней познакомиться. Изумленный Лео пожал руку сначала Манане, потом ее подруге и сказал:

— Вы — студентки субтропического факультета. Ведь так? А меня вы знаете?

Девушки засмеялись, и Лия, подруга Мананы, сказала:

— В одном институте учимся, как же мы можем тебя не знать? Мы вас с Кобой часто видим вместе.

— Мы с ним неразлучные друзья! — радостно заявил Лео и заключил: — Этот замечательный день мы обязательно должны отметить!

— Нет, сегодня не получится! — сказала Манана. — Сегодня мы идем на концерт. А завтра приходите все ко мне. У меня и бутылка виски есть...

— Ну, раз так, на меня можешь точно рассчитывать! — засмеялся Лео.

Вернулись в зал и сели на свои места. Начался концерт, а Коба все думал о Манане: удивлялся, что их встреча произошла так просто, и все время поглядывал на девушку. Лео тоже никак не мог успокоиться: все спрашивал Кобу, действительно ли это подруга его детства.

Концерт кончился поздно. Они остановили такси, отвезли домой сначала Лию, потом по пути высадили у его дома Лео и остались в машине вдвоем. Коба стал рассказывать о своем брате: дескать, он хороший скульптор, и я обязательно свожу тебя к нему в мастерскую — посмотришь его работы. Потом Манана рассказала о своей семье: когда дядю Ноэ направили на фронт, Манана и тетя Оля переехали в Тбилиси, и там Манана закончила среднюю школу и музыкальную. Потом поступила в институт.

Кобе особенно нечего было о себе рассказывать: жил у бабушки в деревне, там же закончил среднюю школу.

— Есть возле нашей деревни одно озеро, на нем я научился грести, и сейчас являюсь членом институтской сборной. А скоро, возможно, меня возьмут в молодежную сборную Грузии, и я буду участвовать в Спартакиаде.

— Я совсем не знаю этот вид спорта, — сдвинула брови Манана. — Должно быть, интересно...

— Очень! — отозвался Коба. — Я обязательно возьму тебя как-нибудь на Тбилисское море — помот-

ришь, как мы тренируемся. А ты можешь записаться в секцию водных лыж...

— Не знаю.. — улыбнулась Манана. — Мне вообще-то очень нравится...

Потом Коба стал рассказывать, как они тренируются.

Манана слушала с интересом, глядя ему прямо в глаза. Кобе опять вспомнилось их детство, когда он рассказывал Манане всякие небылицы, а она вот так же доверчиво слушала и всему верила. Наконец, въехали на улицу Чиковани и остановили такси.

— А опасные случаи у вас бывают? — спросила Манана, когда они вышли из машины.

— Бывают, — кивнул Коба. — Как-то раз байдарка перевернулась, и мы все очутились под ней.

Манана остановилась, испуганно глядя на Кобу. Коба улыбнулся, заглянул девушке в глаза и завершил рассказ шуткой:

— Это было во время соревнований на первенство города, нас обгоняла университетская байдарка, но мы, очутившись в воде, не растерялись, а поплыли под водой, таща за собой байдарку — и пришли к финишу первыми. Но первое место нам не дали: сказали, что мы применили недозволенный прием.

Манана всему поверила. Она была такой же доверчивой, как и пятнадцать лет назад.

* * *

По пути домой Коба вспомнил один случай и улыбнулся: каким все же странным человеком был отец — подумал он, садясь на сидение в троллейбусе. Как-то разболелся у матери ночью зуб, извелась вся. Срочно нужен был врач, а жил он очень далеко. Отец запрягся: не могу отвезти на машине — и все тут, не могу государственный автомобиль в личных целях использовать. Что скажут люди? Сейчас, когда стране трудно, идет война, молодежь отправляем на фронт, у всех отобрали автомобили — жена комиссара ездит к врачу на машине! И лошадь не могу дать: она в любую минуту может понадобиться. Из-за этого родители поругались, дети расплакались. Отец оделся и ушел в комиссариат, заявив, что сам он не может проводить

мать к врачу, так как его в любое время могут позвать к телефону. Мать какое-то время терпела, потом одела детей, и они уже выходили со двора, когда их увидел дядя Ноэ. За комиссариатом находилась конюшня, там же жил Федор. Ноэ велел ему запрячь лошадь, объяснив, что у жены комиссара болит зуб. Федор заторопился, все приговаривая: «Сейчас, сейчас, все будет хорошо, сейчас!» И вскоре мать с детьми уже сидела на телеге: Коба рядом с заплаканной мамой, а Мэлси — рядом с Федором. Когда они с грохотом проехали мимо комиссариата, освещенное окно в кабинете комиссара заслонила тень: Иакинте смотрел из окна на свое семейство.

Врач жил на самой окраине города, у крепостных развалин. Наконец, добрались до его дома. Дверь открыл сам врач и удивленно уставился на женщину с детьми.

Домой возвращались уже засветло. С грохотом въехали во двор комиссариата. Пришел дежурный и сказал, что Федора вызывает комиссар. Федор глянул на мать и послушно направился к кабинету начальника. Вскоре они услышали голос отца: «Кто тебя присл?! Зачем ты поехал?!» — кричал отец. Когда Федор наконец вышел из кабинета, мать позвала его в дом и угостила водкой. Федор взял стакан, обвел всех взглядом и сказал: «Очень крепкий человек наш комиссар! Настоящий коммунист! С таким рядом я когда-то воевал...»

Коба вышел из троллейбуса и пошел по улице. Стоял чудесный тихий вечер. Какое-то время Коба прислушивался к собственным шагам, потом опять мысленно вернулся в прошлое.

Коба и Манана, как обычно, играли во дворе. У них заболел «ребенок» — светловолосая кукла. Манана носила ее на руках, баюкала, успокаивала, потом сказала Кобе: «Возьми машину и срочно привези врача!». Коба отказался: «Не стану я врача беспокоить, сама сходи и снеси ребенка!» «Как?! — удивилась Манана. — Тебе безразлично здоровье нашего ребенка? Сейчас же отправляйся за врачом!» Коба стоял чаша своим: «Сейчас идет война, врачам некогда...» Тут Манана совсем рассердилась, подбежала к Кобе и толкну-

ла его: «Хочешь со мной играть — так делай то, что я говорю!» Коба тоже толкнул ее. Манана пошатнулась, но устояла на ногах и замахнулась на него куклой.. Это было уже слишком, и тут Коба толкнул ее изо всех сил. Манана упала, ударилась лицом о землю, из носа у нее потекла кровь, она громко заревела. Прибежал дядя Ноэ, поднял дочь на руки. Манана продолжала громко плакать, повторяя при этом: «Коба меня не толкал! Коба меня не толкал!». Поднялся переполох, все выскочили во двор. Появился на веранде и отец Кобы. Он быстро подошел к Манане, посмотрел на ее окровавленное лицо, сердито сверкнул глазами на сына и велел идти домой. Отец никогда не бил сыновей, и Коба доверчиво последовал за ним. Но он ошибся. Едва они вошли в дом, как отец схватил его за руку, другой рукой расстегнул ремень и... Избитый Коба лежал на тахте и всхлипывал, плачущая мать утешала его, дула ему на спину, и вскоре он заснул. Среди ночи Коба проснулся от боли. Возле него по-прежнему сидела мать, отец ходил по комнате. Коба притворился спящим. «Не могу больше, Нина! — говорил отец. — Всю кровь из меня выпил этот Ноэ!» «Нужно держать себя в руках, ребенок ведь не виноват», — отвечала плачущая мама. Коба почувствовал вдруг на лице дыхание отца и услышал его голос: «Прости меня, сын!» «Отец просит у меня прощения?! — подумал Коба и оцепенел. — Зачем он это делает?!»

* * *

Придя домой, Коба сразу же достал альбом с фотографиями и раскрыл его. Неужели Ноэ и отец были врагами? — мелькнуло в голове, и он стал рассматривать фотографии друзей и близких отца. Мэлси наверняка что-то знает, — подумал он и подошел к телефону. Спит уже, наверно... Ну, ничего, проснется. Набрал номер и стал терпеливо ждать. Вскоре в трубке послышался голос Мэлси: «Кто это?»

— Это я, Коба! Как дела? Куда ты пропал? Сколько звоню — тебя все нет... — Коба вдруг услышал дыхание другого человека, совсем близко, видимо, рядом с Мэлси. — У тебя кто-то есть? — тихо спросил он.

— Кто у меня может быть? — удивился Мэлси.

— Я слышу дыхание.

— Я ведь живой — вот и дышу! — натянуто за-
смеялся Мэлси.

— Я встретил Манану. Помнишь, дочь Ноэ?.. —
запинаясь, проговорил Коба.

Мэлси помолчал немного, потом громко сказал:

— Спи. Поздно уже. Завтра приду — поговорим!
— и положил трубку.

* * *

Утром Коба опаздывал в институт, троллейбус был набит битком. Он взял билет и стал протискиваться вперед. Вдруг заметил у передней двери Ноэ. Он был в гимнастерке и в фуражке с козырьком. Коба остановился, сердце у него заколотилось: узнает ли? Глубоко вздохнул и двинулся вперед. Подойдя поближе, заметил на рукаве у Ноэ красную повязку. «Контролер», — понял он и инстинктивно сунул руку в карман за билетом.

— Ваш билет? — обратился Ноэ к сидящей на передней скамье пожилой женщине.

Женщина стала рыться в карманах, а Ноэ стоял и терпеливо ждал. Но билет женщина так и не нашла и сказала, что потеряла.

— Ты не брала его, а не потеряла! — процедил сквозь зубы Ноэ.

— Как это — не брала?! — возмутилась женщина. — Все видели, что брала! — и обвела глазами попутчиков.

— А брала — так покажи! — не отставал Ноэ.

— Брала, брала! — сказал кто-то.

— А вы, товарищ, не вмешивайтесь! — одернул его Ноэ. — Знаю я, как она брала билет!

«Брала!» — хотелось крикнуть Кобе. Ему стало жаль седовласую женщину. Дай, думает, подойду поближе и незаметно суну билет ей в карман. В это время Ноэ заметил его и застыл, как вкопанный. Женщине передали билет, троллейбус остановился. Женщина встала, швырнула Ноэ билет, сопроводив его проклятием, и вышла. Ноэ не издал ни звука. Потом вдруг повернулся и быстро вышел из троллейбуса. Удивленные пассажиры так и остались с билетами в руках, а Ноэ исчез в ближайшем магазине.

На лекциях Коба сидел не в духе. День показался ему непривычно длинным. В перерывах они с Лео выходили в коридор, курили и беседовали. Все их разговоры вертелись вокруг Мананы: после лекций они должны были идти к ней, и теперь в тысячах мелочей пытались представить предстоящую встречу.

Лекции закончились рано, и они пошли на проспект Руставели. Погуляли немного, потом сели в трамвай. Кобу одолевали тревожные мысли: как его примут? что скажет Ноэ?.. Он вдруг опять вспомнил отца...

— Где нам сходить? — толкнул его в бок Лео. Коба глянул в окно:

— Через две остановки, — сказал он и опять ушел в свои мысли.

— О чем думаешь? — с улыбкой спросил Лео. — Боишься первой встречи с будущей тещей? Кстати, надо бы купить цветов!

— Еще чего! — огрызнулся Коба. — Не хватало еще с цветами по улицам разгуливать!

— Эх ты, деревенщина! — вздохнул Лео. — Когда, наконец, к культуре приобщиться?!

Дверь открыла Манана, улыбнулась друзьям и посторонилась, приглашая в дом. На ней было фиолетовое платье, и была она в нем так прелестна, что Коба и Лео так и застыли с разинутыми ртами. «Надо было все же купить цветы», — подумал Коба.

— Заходите! Заходите! — улыбнулась Манана.

Лео не растерялся, шепнул Манане что-то на ухо и чмокнул в щеку. Потом повернулся к Кобе и по-своему пригласил:

— Заходи!

Растерявшийся Коба за руку поздоровался с девушкой и последовал за Лео. Навстречу им вышла теть Оля. Выглядела она так же молодо, как и пятнадцать лет назад. Аккуратно одетая, с гладко зачесанными и собранными на затылке в пучок волосами. Она внимательно осмотрела Кобу и улыбнулась, прижав руки к щекам:

— Как похож на Иакинте! — поразились она и

поцеловала Кобу в лоб. — А как мама? Сколько лет мы не виделись!

— Мама постарела, поседела! — произнес Коба, не сводя глаз с тети Оли, поражаясь ее молодости и необыкновенному сходству матери и дочери: те же голубые глаза, маленький аккуратный нос, чуть припухлые губы.

Лео, довольный встречей, переводил взгляд с Кобы на тетю Олю. а с нее на Манану.

— Проходите, пожалуйста, — тетя Оля провела их в гостиную. — Как я хочу повидаться с Ниной! — опять повторила она.

— Мама в деревне, — произнес Коба. — Уезжает весной и возвращается поздно осенью.

Щеки у Мананы пылали. Она застенчиво смотрела на Кобу и улыбалась.

Пол в гостиной был застелен иранским ковром, на стене тоже висел дорогой ковер. В углу стоял большой фарфоровый ларец, расписанный миниатюрами.

Тетя Оля захлопотала, стала накрывать на стол:

— Садитесь к столу. Ноэ потом подойдет. Вы ведь прямо из института, проголодались, наверно. Рядом с Мананой сел Коба, тетя Оля напротив них, а Лео сел во главу стола — за тамаду. Тетя Оля то и дело вскакивала, подавала на стол то одно, то другое и увлеченно беседовала с Кобой: расспрашивала обо всем, во всех подробностях.

— Ты обязательно должен привести к нам мать. Нина — замечательная женщина. Мы с ней так дружили! — повторяла она.

Лео был на высоте: произносил такие тосты, что тетя Оля несколько раз даже прослезилась. Благословлял Кобу с Мананой, желал им счастья и, казалось, готов был, будь у него на то соответствующие полномочия, тут же их обвенчать... Тетю Олю завести было нетрудно: едва Лео высказал желание послушать музыку — она тут же подседа к роялю.

— Апартаменты у вас прямо королевские! — обратился Лео к Манане и указал глазами на ковер. — Персидский, наверно?

— Да, — улыбнулась Манана. — Отец прислал из Ирана. Он был там во время войны.

— И этот фарфоровый ларец, наверно, тоже? — Лео встал из-за стола и стал его рассматривать.

Манана виновато улыбнулась Кобе, сидевшему со сдвинутыми бровями, и кивнула Лео. В это время тетя Оля заиграла на рояле и взглянула на молодежь, приглашая их петь. Лео с сияющим лицом направился к роялю. Подошел и стал в позу, как настоящий певец. Тетя Оля запела сама, подала головой знак, когда вступать Лео, и, к величайшему удивлению Кобы, Лео действительно открыл рот и запел во весь голос. Тетя Оля поощрительно улыбалась ему и кивала головой. Коба тоже улыбнулся, наклонился к Манане и прошептал:

— У него ведь совсем нет слуха!

Манана улыбнулась в ответ. Она была такой нежной и такой красивой, что Кобе ужасно захотелось прижать к груди Манану и даже расцеловать тетю Олю. Это желание Кобы исполнил Лео: кончив петь, он расцеловал «калбатони Олю» (именно так он к ней обратился). Потом подошел к Манане, опять повторил ей, что у них «королевский дом». О Кобе он совсем забыл, всюду развлекал мать и дочь: они все вместе играли и пели. Потом Лео танцевал с «калбатони Олей». Коба даже прыснул со смеху, глядя, как Лео, галантно расшаркиваясь, приглашает тетю Олю на танец.

Коба встал и подошел к Манане. Она в это время увлеченно наигрывала танго и не заметила приближения Кобы. Он нагнулся и прошептал ей в самое ухо:

— Я люблю тебя, Манана!

Он вовсе не собирался этого говорить, но когда наклонился к девушке, слова сами слетели с губ.

Руки у Мананы замерли на клавишах, она растерянно взглянула на Кобу.

— Манана, музыку! — крикнул Лео, тетя Оля тоже выжидательно смотрела в их сторону.

— Сейчас, сейчас! — ответила Манана, встала, не отрывая глаз от Кобы, подошла к магнитофону и включила его.

Коба подошел к ней, обнял за талию, и они отдались плавному ритму музыки. Манана была очень привлекательной, воздушной. Коба впервые чувствовал

ее так близко. Они прижались друг к другу, тела их трепетали от волнения.

Вдруг зазвенел звонок.

— Это, наверно, Лия, моя подруга, — Манана остановилась и посмотрела в сторону двери.

Тетя Оля вышла в прихожую. Через некоторое время вместе с ней в комнату вошел дядя Ноэ. Лео сидел за столом и смотрел на Кобу с Мананой. Ноэ остановился у двери, обвел всех взглядом. Чувствовалось, что он здорово выпил. Постоял так какое-то время, потом обернулся к жене.

— Это сын Иакинте, Коба! Не узнаешь? — улыбаясь, указала на Кобу тетя Оля.

— Сын Иакинте?! — отозвался Ноэ и уставился на Кобу. Некоторое время напряженно, с плотно сжатыми губами вглядывался в него, потом быстро подошел к ним, схватил Манану за руку, отвел в сторону и злобно крикнул Кобе:

— Убирайся отсюда!

— Отец!! — закричала Манана и разрыдалась.

— Ноэ! Что с тобой!? — растерянно протянула к мужу руки тетя Оля.

Побледневший Лео подошел к Кобе, взял его под руку и молча повел к двери.

* * *

Домой Коба вернулся совершенно вне себя. В ушах все звучало: «Убирайся отсюда! Убирайся отсюда!» Почему? В чем причина? На столе заметил записку. Мэлси писал: «Долго ждал тебя. Ночью уезжаю в Гагра. Ноэ ненавидел отца. Подробности знает мама. Буду через десять дней. Мэлси».

Коба скомкал записку и опустился на стул. Мысли окончательно спутались: «Ненавидел отца... Убирайся... Ноэ... Что с тобой?! Что с тобой?!..»

Поеду в деревню и обо всем расспрошу маму, — решил Коба. Глянул на часы: не так уж поздно, еще несколько поездов есть в западном направлении. Даже если уеду последним поездом — утром буду в Зестафони. Он взял отложенные на питание деньги и уже собирался выходить, как вдруг зазвонил телефон.

— Попросите Кобу! — со слезами в голосе проговорила Манана.

— Его нет, — после небольшой паузы, изменив голос, ответил Коба.

Манана вздохнула и положила трубку. Коба, словно окаменев, стоял и смотрел на телефонный аппарат. Зачем я солгал? Надо было сказать, что ее отец...

Неожиданно открылась дверь спальни и оттуда вышла двоюродная сестра Кобы — Лали. Она расцеловала Кобу и позвала на кухню:

— Пойдем, поешь. Я привезла кое-что из деревни. Коба молчал.

— Записку прочел? — Лали с любопытством взглянула на него.

— Я еду в деревню! — сказал Коба и направился к двери.

Лали молча последовала за ним в коридор и сочувственно поцеловала в щеку.

* * *

Общий вагон был переполнен. Коба с трудом нашел место, чтобы присесть, а поспать ему совсем не удалось. Почти всю дорогу его развлекал веселый старик-попутчик. Какие только истории не рассказывал, кого только не вспоминал! Выяснилось, что он даже знал отца Кобы — и он стал рассказывать, как они вместе проводили коллективизацию, как боролись с зестафонскими черносотенцами и анархистами. «Иакинте был крепкий человек, прекрасный комсомольский вождь!» — сказал старик.

Когда Коба вышел на привокзальную площадь, было еще темно, и машин не было. Еще лет пять назад, когда такси и в помине не было, в деревню со станции ходили пешком. Вваливали вещи на спину и цепочкой растягивались по тропинке. Коба пошел пешком по этой старой тропинке. По ней, видимо, давно никто не ходил, и она почти заросла травой. Лес, чуть ли не полностью вырубленный во время войны, уже успел подрасти. Коба так увлекся видом родных мест, что скоро забыл обо всем на свете.

Пока дошел до деревни, уже совсем рассвело. Село просыпалось, орали петухи, кое-где лаяли собаки.

На востоке из-за гор выглянуло солнце и заглянуло в овраг, где на склоне раскинулась деревня. Сверху был хорошо виден деревянный дом и весь двор деда. Перед домом мать кормила кур и индюшек. Слышалось куриное кудахтанье и индюшачий клекот. В хлеву тетя доила корову: Коба отчетливо слышал звон молочных струй. Вдали, у самого подножия горы, все еще чернело озеро.

Какое-то время Коба с нежностью любовался всей этой картиной, потом спустился вниз. Отворил скрипучую калитку и окликнул мать. Мама удивленно оглянулась, отряхнула подол и встревоженно воскликнула:

— Что случилось, сынок?!

— Ничего. Что могло случиться? — улыбнулся Коба и поцеловал мать в седую голову.

— А Мэлси?! — опять спросила мать.

— У него все хорошо, — обнял мать Коба. — А вчера Лали приехала.

Мать еще раз испытующе оглядела сына, потом облегченно вздохнула и окликнула тетю. Теперь всполюшилась тетя: «Ах ты мой дорогой, мальчик мой, если б ты знал, как я рада!..» Из дома вылетели двоюродные брат и сестра и повисли у Кобы на шее.

У Кобы уже вошло в обычай по приезде в деревню сначала обойти сад и виноградник и только после этого идти в дом. Посаженный дедом виноградник сильно постарел. Благодаря этому винограднику мы пережили войну, он нас выкормил, вырастил, подумал Коба. Дед, пока был жив, так любовно за ним ухаживал — и виноградник буйно рос и щедро плодоносил. А сейчас у него такой сиротливый и несчастный вид.. Коба расстроился, тронул рукой лозу, удалил лишний побег. Все постепенно стареет и умирает, подумал он. Нужно сажать новый виноградник. Но кто этим займется? Коба взглянул на сестру и брата: Кето в этом году кончает школу и собирается поступать в медицинский, Нугзари мечтает об авиации...

Тетя зажарила цыплят, напекла тоненьких кукурузных лепешек, принесла домашний сыр с мятой, поставила на стол кувшин с вином — и все сели за стол. В ожидании предстоящего разговора Коба немного нервничал, но чистый деревенский воздух все же взял

свое, и ел он с удовольствием. Мать задумчиво поглядывала на него: догадывалась, что сын приехал не просто так, а по какому-то делу. Выпив пару стаканов вина, Коба, наконец, сказал:

— Я встретил Ноэ...

— Ноэ? — вырвалось у матери, и она испытующе взглянула сыну в лицо.

— Я с ним заговорил, он обрадовался...

— Какой Ноэ? — спросила тетя. — Заместитель Иакинте?

Коба взглянул на тетю и опять перевел взгляд на мать:

— Мама, объясни, в чем дело? Чем отец не угодил Ноэ? Или наоборот?

— С чего ты взял?! — смутилась мать. — Они вместе работали. Бывали у них, конечно, и разногласия...

— Мэлси говорит, они были врагами.

— Да он с ума сошел! — воскликнула мать. — Надеюсь, ты ничего лишнего себе не позволил?..

— Мама, я уже не ребенок... — понизил голос Коба. — И должен знать, где друзья, а где враги.

— Ни к чему это, сынок. Зачем ворошить прошлое. Какое детям дело до споров их отцов... — мать задумалась. — Отец твой был очень вспыльчивым, ему слова нельзя было сказать поперек. А Ноэ все больше о семье заботился... — мать вздохнула, взглянула на сына и спросила:

— Где ты его встретил? Что он тебе сказал?

— В ресторане встретились. И дома я у них был, — хотел рассказать, какой красивой девушкой стала Манана, но прикусил язык. — Очень хорошо живут.

Мать не сводила с сына тревожного взгляда.

— Тетя Оля о тебе спрашивала, — Коба не выдержал взгляда матери и опустил голову.

— Оля хорошая женщина! — сказала мать и, будто только сейчас вспомнив, спросила: — Ты, наверно, и Манану видел?

Раньше Коба не раз спрашивал у мамы, где живут Ноэ и его семья. Очень хотелось ему увидеть Манану. Но мама всегда отвечала, что живут они, видимо, в Тбилиси, но где именно — она не знает.

— Видел, — коротко ответил Коба и встал.

Из всего сказанного мамой Коба сделал вывод, что отец был очень вспыльчивым, а Ноэ — хорошим семьянином, ловким и предприимчивым человеком, и из-за несходства характеров у них бывали стычки. Больше же всего Кобу обрадовало то, что мама хорошо отзывалась о тете Оле.

— Сынок, будь осторожен, — заговорила мать. — Я с таким трудом вас вырастила и так хочу, чтобы вы были счастливы. Слава богу, никто из вас не унаследовал характер отца... Хотя за тебя я немного побаиваюсь. Будь осторожен, учись управлять своими чувствами, сдерживать себя.

— Ладно, мама, — обнял мать за плечи Коба. — Я ведь не маленький, что ты меня воспитываешь!

— А с ними у тебя нет ничего общего. Пусть они будут сами по себе, ты — сам по себе, — мать тоже встала.

— Правильно, держись от них подальше, — подхватила хлопотавшая по дому тетя. — Вообще с ними не разговаривай...

— Почему? Почему?! — изумился Коба. — Живем в одном городе, учимся в одном институте, в детстве жили в одном дворе, вместе играли...

— Да нет, разговаривай, конечно, кто тебе запрещает, только будь осторожен...

Коба засмеялся: почему я должен быть осторожен? Чего мне опасаться? — подумал он и сказал:

— Декан нашего факультета все время ругается со своим заместителем, а их дети учатся вместе с нами и очень дружат.

— Конечно, сынок, тебе виднее. Ты не маленький и добро от зла сам должен отличать.

Коба подошел к камину и задумчиво уставился на припорошенные пеплом головешки. В деревне больше делать было нечего. Манана утром, наверно, опять звонила. Узнает, что я уехал в деревню — удивится. Я должен сегодня же вернуться в Тбилиси, сегодня же! Он повернулся к тете:

— Автобус на Тбилиси отходит в то же время?

— А ты что, уезжать собираешься?! — удивилась тетя.

— Мне обязательно нужно ехать: у меня ведь завтра лекции!

* * *

Было часов одиннадцать вечера, когда Коба вернулся в Тбилиси. Лали уже спала. Коба разбудил ее и спросил:

— Мне никто не звонил?

— Два раза звонила какая-то девушка, — зевая, ответила Лали и повернулась на другой бок. — Влюблена, видно, в тебя... Голос такой грустный...

Коба ушел в свою комнату, поставил телефон возле кровати, прилег и уставился в потолок. Потом решительно снял трубку и набрал номер: знал, что не сможет заснуть!

— Манана!

— Да, это я, Коба!

— Чем занимаешься, Манана? — вздохнул Коба и сел на кровати.

— Ничем, — засмеялась Манана. — Лежу, думаю... «Триумфальную арку» читаю...

— Нравится?

— Да, но я ненавижу мстительность.

— Что ты, Манана. Виновные обязательно должны быть наказаны, чтобы подобное не повторялось...

— Это забота правосудия...

— Правосудие не всегда может карать. Люди ведь часто преступают законы морали и этики.

— Бог всем воздаст по заслугам.

— Ты веришь в бога, Манана?

— А ты?

— Нет!

— Коба?! — огорчилась Манана. — Ты безбожник? Ты, наверно, и не крещеный?

— Нет. Мой отец был коммунистом...

— Ну и что? — удивилась Манана. — Мой отец тоже коммунист, а меня крестили.

— Значит, твой отец пошел на сделку с совестью. Если бы об этом узнал мой отец — расстрелял бы!

Манана засмеялась. В комнату вошла Лали в халате поверх ночной рубашки. Она остановилась у порога и прислонилась спиной к двери. Коба рукой

подал ей знак, чтобы она ушла, но она и не двинулась с места.

— В тот день отец твой обошелся с нами, как безбожник! — сказал в трубку Коба.

Он почувствовал, что Манане неприятно вспоминать тот день — она грустно сказала:

— Ты не знаешь моего отца...

— Завтра чем занимаешься? — спросил Коба и опять подал знак Лали.

— В институт иду...

— Завтра увидимся, Манана.

Манана молчала, Коба тоже не мог вымолвить ни слова. Он опять подал знак сестре, та, наконец, поняла и вышла из комнаты.

— Ты тогда мне не ответила, — зашептал в трубку Коба. — Я люблю тебя, Манана!

— Коба... — еле слышно проговорила Манана. — Разве об этом говорят по телефону?

— Конечно, Манана! Помнишь наш игрушечный телефон? О чем только мы тогда не говорили!

— Я в тот день не успела тебе показать. Я ведь храню тот телефон... Подожди, Коба, — Манана с кем-то поговорила, потом сказала в трубку: — Это мама. Говорит, чтобы я передала тебе ее извинения и чтобы ты обязательно к нам зашел.

— А твой отец меня опять не выгонит?

— Коба! А ты, оказывается, злопамятный! Я же тебе сказала, что ненавижу мстительность в людях!

— Я не хотел тебя обидеть... — сдался Коба.

— Я не обижаюсь... А теперь давай спать. Поздно уже.

— До завтра, Манана!

— До свидания! — ответила девушка.

Коба положил трубку, закурил, разделся и лег в постель, но еще долго не мог заснуть.

* * *

Институтский коридор был полон студентов. Все направлялись к спортзалу: там баскетбольная команда винодельческого факультета встречалась с командой садоводов. Все только и говорили об этой встрече и предсказывали победу то одним, то другим. Ко-

ба, Манана и ее неразлучная подруга Лия вошли в спортзал и сели на скамью. Вскоре к ним присоединился и Лео: он заметил их издали, помахал рукой — дескать, сейчас приду — куда-то исчез, но вскоре опять появился — принес всем мороженое. Коба обнял Манану за плечи. Они болели за виноделов, и когда мяч попадал в руки кому-нибудь из них — подбадривали его криками и хлопками. Игра вскоре закончилась, победили виноделы. Коба и его друзья были довольны. Лео пригласил всех в кафе и щедро угостил — заказал даже две бутылки шампанского. Потом погуляли по проспекту Руставели, зашли в кинотеатр, посмотрели новый фильм. С этого дня Коба и Манана стали встречаться каждый день. Ходили в кино или в гости к кому-нибудь из друзей. Начался сезон байдарок, а Коба совсем забросил тренировки. На спортивной кафедре ему даже сделали предупреждение, но он предпочитал проводить время с Мананой. Манана, узнав об этом, предложила ходить на тренировки вместе. («Должна же я знать, чем ты увлекаешься!»). Один раз они встретили на улице Ноэ. Он, правда, подал Кобе руку, но вид у него был смущенный, будто он хотел и не решался что-то сказать, потом сказал Манане, чтобы она вечером не задерживалась. Но в тот вечер они были приглашены в гости к Лео, и Манана не выполнила наказ отца. Лео жил один, в маленькой, уютной комнатке. Он был страстным радиолюбителем, и на столе у него стояло два разобранных приемника. Лео при виде друзей выразил свою радость тем, что включил на полную громкость оба эти приемника, чем очень удивил Манану. Друзья немного побеседовали, потом Лео извинился, сказал, что ему нужно сбежать в магазин — и ушел, оставив их одних. Это была явная уловка, и Коба не удержавшись, рассмеялся. Но все равно было хорошо. Он обнял Манану и так крепко поцеловал, как никогда никого еще не целовал. Манана вся зарделась и затрепетала. Коба еще раз ее поцеловал, приласкал, несколько раз повторил, что любит ее. Тем временем вернулся Лео, действительно что-то принес. Достал из шкафа коньяк, налил всем и выпил за здоровье и счастье гостей. А когда подошла очередь выпить за родителей, сказал Манане:

— У тебя такая красивая мама, я, кажется, даже влюбился...

Манана улыбнулась, потом сказала:

— Отец в последнее время неважно себя чувствует. Стал таким нервным, по ночам кричит. Вчера мы с мамой так испугались: он кричал что-то и все звал: Манана! Манана!... Сердце у него слабое, уже был микроинфаркт, и мы очень за него боимся.

Манана выглядела такой слабой и беспомощной, что Коба обнял ее и стал успокаивать.

У Лео они просидели допоздна, и было уже часов двенадцать, когда Коба проводил Манану до ее дома и на прощание еще раз поцеловал у подъезда.

— Завтра обязательно приходи к нам, — сказала Манана. — Мама знает о нас с тобой и, наверно, уже сказала все отцу.

* * *

Рано утром Кобу разбудил Мэлси. Он вернулся из Гагра в прекрасном настроении: заказ выполнили в срок, и барельеф, кажется, получился неплохой. Стал расспрашивать брата о его делах. Но Коба отшучивался.

— С Мананой встречаешься? — спросил Мэлси.

— Да, — ответил Коба и, чтобы прекратить разговор на эту тему, добавил: — Наверно, скоро женюсь!

Мэлси изумленно уставился на младшего брата, а Коба спокойно закурил сигарету и твердо глянул брату в глаза.

— Ты мать видел? — спросил Мэлси.

— Видел. И все выяснил, — ответил Коба. — Наш отец был очень вспыльчивым, житья не давал своим сослуживцам — и те относились к нему соответственно...

— Не смей так говорить об отце! — рассердился Мэлси, потом миролюбиво похлопал брата по щеке и добавил: — Ты ведь еще ребенок, что с тебя взять! Будь на твоём месте кто-нибудь другой — я б ему скулу свернул!

— За что?! — закричал Коба и сел на кровати. — Я люблю ее!!!

— Люблю... — небрежно отозвался Мэлси.

— Люблю, да, люблю! Хотя что с тобой говорить, — махнул он рукой. — Откуда тебе знать, что такое любовь! Привык путаться со шлюхами!

Мэлси насмешливо улыбался и многозначительно посмеивался, а при последних словах Кобы расхохотался. Это окончательно взбесило Кобу, но он все же справился с собой и, чтобы унять дрожь в теле, вцепился обеими руками в кровать. Мэлси вдоволь насмеялся и уже открыл рот, чтобы что-то сказать о Манане, но Коба схватил стул и крикнул:

— Еще одно слово — и получишь этим стулом по голове!

Мэлси постоял какое-то время, изумленно взирая на брата, потом безнадежно махнул рукой и вышел из комнаты.

* * *

Коба сидел дома и писал лабораторную работу. Он все никак не мог избавиться от неприятного осадка после утреннего разговора с братом. Вечером надс было идти к Манане. И он все время то думал о предстоящем визите, то перед глазами у него снова появлялся Мэлси — и это очень отвлекало его. Наконец, он отложил учебники и направился в ванную. Принял холодный душ, поиграл перед зеркалом мускулами, побрился, тщательно оделся и отправился в гости.

Тетя Оля сразу заметила, что он не в духе, на вопросы он отвечал очень рассеянно: перед глазами по-прежнему стоял брат, а в ушах звучал его голос. А тетя Оля была в прекрасном настроении, рассыпалась в любезностях и даже пару раз потрепала Кобу по волосам. От такого чрезмерного внимания настроение у Кобы еще больше испортилось. Манана стала показывать ему старые игрушки: кукол, которые были когда-то их детьми, игрушечный телефон. Коба слушал Манану, смотрел на игрушки своего детства, а слышал голос брата. Потом вспомнил Ноэ: что он скажет, когда вернется и увидит меня здесь? Почему он выскочил из троллейбуса? Почему выгнал меня из дома? Почему кричит во сне?

— Коба, что с тобой? — забеспокоилась Манана.
— Скажи мне, что случилось?

— Что случилось? — подошла к ним тетя Оля. — Я тоже заметила, что Коба не в себе. У тебя, может болит что-нибудь? — спросила она и потрогала его лоб.

— Брату помогал в мастерской и устал немного, — солгал Коба.

— Ложись, лежи, — указала рукой на тахту тетя Оля. — Пока нет Ноэ, отдохни немного.

«Полежи, полежи», — хором настаивали женщины. Коба понял, что ему не отвертеться («В такое дурацкое положение попал!») и направился к окну: мол, лучше подышу свежим воздухом. Манана подошла и положила руку ему на плечо. Свежий ветерок немного успокоил Кобу, он улыбнулся Манане и крепко сжал ей руку.

Тетя Оля накрыла на стол, взглянула на настенные часы и сказала:

— Еще немного подождем. Скоро должен придти. — потом пожала плечами и как будто сама с собой проговорила: — Неужели опять выпьет?

— Хочешь посмотреть фотографии? — вспомнила вдруг Манана, и, не дожидаясь ответа, убежала и вернулась с резной шкатулкой.

В шкатулке были аккуратно уложены фотографии. Со снимков смотрели то улыбающиеся, то серьезные: дядя Ноэ, тетя Оля, Манана, их друзья и родственники. Мать и дочь подробно комментировали каждую фотографию. Вдруг Коба узнал себя: на фотографии стояли рядом Мэлси, Манана и он. У них дома же было этой фотографии, и Коба очень удивился и стал с интересом разглядывать снимок. А Манана, довольная, положила руку ему на плечо и заглядывала в глаза.

— На кого мы тут похожи! — сказал Коба.

— Такими мы тогда и были! — улыбнулась Манана.

— Я прекрасно помню, когда был сделан этот снимок, — начала рассказывать тетя Оля. — У нас тогда был в гостях русский летчик...

— Русский летчик, такой высокий... — взглянул на тетю Олю Коба.

— Ты тоже помнишь? — улыбнулась ему тетя Оля. — Мы в тот день ходили смотреть развалины крепости.

— Конечно, помню! У нас даже есть фотография этого летчика.

— И у нас есть! — воскликнула Манана и высыпала фотографии из шкатулки.

У Кобы перехватило дыхание. На той фотографии должны были быть его отец, тот летчик и дядя Ноэ. Манана нашла фотографию и, улыбаясь, подала Кобе. Коба взял фотографию, какое-то время растерянно смотрел на нее, потом вопросительно взглянул на мать с дочерью: на фотографии были только тот летчик и дядя Ноэ.

— А где же мой отец? У нас есть такая фотография, на ней должен быть мой отец.

— Не может быть, чтобы у нас ее не было, — уверенно сказала тетя Оля.

— Мама, а где наши старые фотографии? — спросила Манана.

— Да их так сразу разве найдешь, — задумалась тетя Оля. — Хотя... — протянула она и вышла в другую комнату.

Коба и Манана взглянули друг на друга. Манана была так привлекательна, чуть припухлые губы будто просили поцелуя. Коба легонько похлопал ее рукой по щеке, наклонился и поцеловал.

Тем временем тетя Оля вернулась с каким-то пакетом и молча развязала его. В пакете оказались старые пожелтевшие фотографии. Мать и дочь стали любовно перебирать их. Коба тоже смотрел с интересом. Вдруг он заметил знакомую фотографию — и чуть не вскрикнул от изумления, во рту пересохло, тело ослабло: лицо его отца на фотографии было выцарапано. Это была точно такая фотография, как у них дома: отец и тот летчик сидят, а за ними стоит и улыбается дядя Ноэ. Коба взял фотографию и взглянул на Манану. «Что такое?» — улыбнулась она и с любопытством взглянула на фотографию.

В это время раздался звонок, и тетя Оля поспешила в прихожую. Молодые люди проводили ее взглядом, и с минуту в комнате царила мертвая тишина. Потом в комнату вошел дядя Ноэ, остановился посреди комнаты и, разинув рот, уставился на Манану с Кобой.

— Опять выпил?! — спросила тетя Оля.

Обида подступила к самому горлу Кобы, на висках и на шее набухли вены, он задрожал всем телом. Манана, заметив его состояние, схватила его за руку.

— Что случилось? — и еще раз взглянула на фотографию.

— Почему вы его стерли? Почему? — крикнул Коба и повернулся к Ноэ.

Ноэ слегка покачивался и бессмысленно таращил глаза. Тетя Оля металась между ними, не зная, на что решиться: то ли подойти посмотреть на фотографию, то ли держаться на всякий случай поближе к мужу.

— Тут стерто лицо твоего отца?! — поразилась Манана и взглянула на Ноэ.

— Да, моего отца! — гневно ответил Коба и встал. — Между нами, Манана, посеяно столько злобы и ненависти, что и на наших потомков хватит...

Манана побледнела, глаза у нее расширились:

— Коба! — сказала она и приложила руку к губам: дескать, молчи, ничего больше не говори.

— Ты должна все знать, — не унимался Коба. — Твой отец — авантюрист и анонимщик.

Манана попыталась что-то сказать, но в это время Ноэ так громко закричал, что зазвенела хрустальная люстра.

— Ел-л-ле!..

Манана и Коба удивленно уставились на Ноэ, а тетя Оля подбежала к дочери, обняла ее и прижала к себе.

— Ел-л-ле!... — опять крикнул Ноэ, не двигаясь с места и схватился левой рукой за грудь.

Коба услышал плач Мананы, потом голос тети Оли. Он посмотрел на них и опять перевел взгляд на Ноэ.

— Ел-л-ле! — прорычал Ноэ и наконец тихо договорил: — Еле избавился пятнадцать лет назад от деспота, человеконенавистника...

— Отец! Отец!! — крикнула плачущая Манана.

— Не хочу! — угрожающе крикнул Ноэ, энергично потирая левую часть груди. — Не хочу! Не смогу полюбить! — он пошатнулся и сделал шаг к креслу.

— Ноэ! — закричала тетя Оля и подбежала к мужу.

Коба почувствовал, что он здесь лишний, и молча вышел из комнаты, слыша за спиной встревоженные голоса женщин. Сбежал вниз по ступенькам и выскочил на улицу.

* * *

Весь день Коба неподвижно пролежал в постели. Несколько раз порывался встать, но тело ему не повиновалось — и он лежал, беспомощный, будто с перебитым позвоночником, и размышлял; иногда поглядывал на телефон, но был не в силах протянуть к нему руку и набрать номер.

Мать явно что-то скрыла от него — это было теперь совершенно ясно. Перед глазами часто всплывало лицо Мананы, и при воспоминании о ее ласках и поцелуях сжималось сердце. Он любил Манану — это было несомненно, хотя и тут не все до конца было ясно: его одолевали тысячи сомнений. Он не знал, что предпринять, с чего начать.

Лали утром ушла в институт. Мэлси за весь день ни разу не появился и не позвонил. Коба чувствовал, что Мэлси прав, и его душила горечь. Почему Ноэ стер лицо отца с фотографии? Почему? Неужели... Нет, мой отец не мог быть ни предателем, ни преступником. Он был военным, ушел на фронт и погиб... — вот все, что он знал об отце.

Вдруг зазвенел телефон. Коба вздрогнул, посмотрел на аппарат, но не двинулся с места и не поднял руки. Оцепенело уставился на телефонный аппарат, не в состоянии даже о чем-то думать.

Перед глазами опять появилась Манана, он вспомнил их первый поцелуй, тепло ее тела... В глазах замелькали разноцветные круги...

Уже под вечер в комнату неожиданно вошла мама, а за ней — Мэлси и Лали. Коба не пошевелился. Встревоженная мать торопливо подошла к сыну и положила руку ему на лоб: «Ты заболел, сынок?» — тихо спросила она, но не получив ответа, повысила голос: — Чего это ты валяешься? А ну-ка вставай и рассказывай, в чем дело!

Мэлси ухмыльнулся:

— Да парень просто влюбился!

Коба молча взглянул на него, потом на мать и на Лали. Лица их будто плавали в воздухе, он с трудом, как в тумане, различал их. Мать сняла черный платок, присела на кровать, опять положила руку сыну на лоб. Вдруг кто-то брызнул ему в лицо водой. Это оказался Мэлси. Он стоял у кровати со стаканом в руке и испуганно смотрел на брата. Окружающее словно выплыло из тумана, и Коба отчетливо увидел лица близких.

— Что ж ты со мной делаешь, сынок? — сказала мать и начала растирать ему грудь.

Лали кусала губы, из глаз у нее ручьем текли слезы.

— Не умрет, не бойтесь, — сказал Мэлси и поставил стакан на стол.

— Как тебе не стыдно, сынок! — мать гладила его по лицу и по груди. — Ты ведь мужчина!

— Мужчина! — подхватил Мэлси. — Увидел девочку и тут же влюбился!

Коба приподнялся на локтях, не отрывая глаз от брата, и попытался что-то сказать; мать обняла его и снова уложила.

— Ты расскажи ему, что за человек Ноэ! — опять послышался голос Мэлси.

— Ну что вы меня терзаете! — воскликнула мать. — Что я должна рассказать? И зачем?

— Расскажи, мама, — усталым голосом попросил Коба. — Я ведь должен знать!

— Хорошо, сынок. Только ты не нервничай.

Мэлси уселся в кресло и положил ногу на ногу. Лали прислонилась спиной к стене, в руках у нее был зажат носовой платок, и она то и дело подносила его к глазам.

— Был сорок второй год, — начала мать. — Комиссариат собирал в колхозах лошадей и отправлял на фронт. Руководил этим Ноэ, так как это входило в его обязанности. Лошадей в колхозах обьезжали и брали на учет... Ноэ тянул время: то людей ему не хватало, то того, то другого — а сам все время пропадал в колхозах и совхозах. Иакинтэ решил проверить

на местах, как идет мобилизация лошадей: знал уже по опыту, что если с самого начала не проследит, потом хлопот не оберется. Так было с первыми двумя эшелонами. Тогда Ноэ тоже уверял, что все в порядке, а когда подошло время отправлять эшелоны, лошадей удалось собрать с большим трудом... Ноэ в тот день сказался больным и никуда не поехал...

Мэлси ухмыльнулся и что-то буркнул себе под нос. Мать оглянулась на него и продолжала:

— Иакинтэ и представитель райкома поехали по колхозам без Ноэ... Оказалось, что дела обстоят отнюдь не так хорошо, как расписывал Ноэ. В некоторых колхозах лошадей еще даже не начали объезжать. А один конюх проговорился, что ему вообще никто ничего не говорил! Вернулся Иакинтэ взбешенный...

— Еще бы! — развел руками Мэлси. — Идет война, а этот тип ездит по колхозам кутить, вместо того, чтоб заниматься делом!

— Вызвал он Ноэ к себе в кабинет, — мать вздохнула и продолжала. — Отец ваш был очень вспыльчивым и резким. Халатности в работе не прощал никому, тем более — Ноэ! А Ноэ вроде бы ничего плохого и не делал, — мать на минуту задумалась, — и работал вроде, но все же больше старался для своей семьи... Чтобы жена и дочь ни в чем не нуждались... Из колхозов, конечно, с пустыми руками никогда не возвращался. А вашего отца это бесило. Несколько раз даже писал в районный комиссариат, просил избавить его от Ноэ, но у Ноэ друзей хватало...

— Еще бы! Небось, кормил всех! — усмехнулся Мэлси.

Мать задумалась ненадолго и продолжала:

— Вернувшись из поездки по колхозам, Иакинтэ даже домой не зашел — направился прямо в комиссариат. По пути наткнулся на Ноэ, и это окончательно вывело его из себя: «Так вот какой ты больной!..» Вошли они в кабинет, и Ноэ начал оправдываться: дескать, только сегодня встал с постели. На крик Иакинтэ в коридор сбежались все сотрудники: «Ну, теперь уж комиссар точно убьет Ноэ!» — шутили некоторые. Вскоре распахнулась дверь кабинета, и оттуда вылетел Ноэ с разбитым в кровь лицом...

— Да будь я на месте отца — убил бы! — крикнул Мэлси.

Коба взглянул на брата и опять перевел взгляд на мать.

— Что ты говоришь, сынок! Надо ведь себя сдерживать... — вздохнула мать. — А Ноэ только этого и ждал... Подал жалобу в комиссариат республики...

— И что, отца судили? — спросил потрясенный Коба.

— Судить не судили, но... — опять тяжело вздохнула мать, — на фронт он ушел пристыженный и униженный.

Мэлси встал, походил по комнате, потом остановился у окна и стал смотреть на улицу. Коба тоже сидел молча, погруженный в свои мысли.

— Я знала, что отец ваш не вынесет такого позора и унижения, — продолжала мать со слезами в голосе. — Жизни не пожалеет, чтобы смыть с себя пятно. Так, видно, и случилось — погиб в первые же дни!

Кобе стало ясно, почему Ноэ стер с фотографии лицо его отца...

— Теперь ты понял, в кого ты влюбился? — спросил Мэлси, — Разве можно любить этих людей?

Коба встал, но не знал, что делать дальше...

— Почему вы мне раньше не сказали? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Зачем? — отозвалась мать и вытерла слезы. — Не хотела я, чтобы мои сыновья питали к кому-то вражду...

— А Мэлси тоже не знал?

— Подробности я не знал, — опять заходил по комнате Мэлси. — Но догадывался, что Ноэ — плохой человек.

— А если я все же не откажусь от Мананы? — спросил Коба, немного успокоившись.

Мэлси остановился посреди комнаты и вытаращил на брата глаза. — Да... этот парень, похоже, пропал окончательно! — сказал он и безнадежно махнул рукой.

— Он ведь любит! — крикнула Лали и разрыдалась.

— Ах, любит?! — саркастически рассмеялся Мэлси.

— Да, люблю, люблю! — крикнул Коба и шагнул к брату.

— Зачем только дожидаясь до этого дня! — взмолилась мать, подошла к Кобе и обняла его. — Я тебе все сказала, сынок. Ты не маленький. Добро от зла отличать умеешь... Поступай так, как подскажет тебе сердце и разум.

Мэлси проворчал что-то и выскочил из комнаты, хлопнув дверью. А Коба, изумленный смотрел на мать: знал он характер матери, знал ее доброту и отзывчивость, но все же не ожидал, что так быстро добьется ее согласия.

— Иакинтэ и Ноэ были слишком разными, — опять заговорила мать. — Вот и жили, как кошка с собакой. Но к нам Ноэ всегда относился хорошо. Часто приходил ко мне и жаловался на Иакинтэ: «Неужели самому не хочется пожить? Семейку свою совсем не жалеет...», — она улыбулась и продолжала: — Однажды был такой случай: пришел ко мне Ноэ: может, говорит, уговоришь как-нибудь Иакинтэ — пусть напишет заявление, и я съезжу на базу за продуктами... Трудно было тогда с продуктами, в магазинах ничего не было, но Иакинтэ заупрямился — и ни в какую: не могу я, говорит, посылать сотрудника комиссарата на базу. Если бы у них были излишки — они бы их сами прислали... А Ноэ же поехал, взял с собой Федора с телегой и привез много разных продуктов... Я сварила помидоры, разлила по бутылкам, приготовила обед. Иакинте вернулся поздно, пообедал, съел персик... Он никогда не спрашивал, что откуда. Что подам на стол — то и ест, а нет ничего — довольствуется хлебом с луком. Когда он отрезал кусок от арбуза и откусил, я спрашиваю: «Вкусно?» Он смотрит на меня удивленно: «А в чем дело?» — «Это те самые продукты, о которых я тебя столько просила. Ноэ съездил и все привез. Какой молодец, какой хороший семьянин...» Покойный ваш отец взрывался мгновенно, особенно не выносил, когда хвалили Ноэ. Вскочил из-за стола, схватил арбуз и выбросил в окно, потом принялся за бутылки с томатом, перебил все и вылетел во двор,

хлопнул дверью: «Я ему сейчас покажу! Как посмел он ехать без моего разрешения!» — мать опять слабо улыбнулась сыну, пожала плечами и заключила: — Вот такой был ваш отец!

— Значит, семьянином и другом Ноэ был хорошим? — вырвалось у Кобы.

— Конечно! — развела руками мать. — А для общества, для государства? Если бы все заботились только о себе и не было бы таких людей, как Иакинте...

— Ты была счастлива с отцом? — Коба посмотрел матери прямо в глаза. Мать не ожидала подобного вопроса. Она удивленно взглянула на сына, потом опустила голову и задумчиво сказала:

— Если бы он только был сейчас жив... — на глазах у матери появились слезы. — Мы ведь не всегда ругались, у нас было столько хороших, светлых дней... Война поломала нам жизнь, а до этого у нас все было хорошо: с питанием проблем особых не было, я работы никогда не боялась...

— Прости меня, мама! — Коба встал, подошел к матери и обнял ее.

— Я сейчас быстренько приготовлю тебе поесть. А ты пока иди умойся, — сказала мать и направилась к кухне. — Я привезла кое-что из деревни.

Коба разделся по пояс и пошел в ванную. Долго смотрел на себя в зеркало, потом открыл кран. В памяти всплыл один случай из детства.

Впереди взвода шагает Ноэ, отец Кобы — сбоку. Двое солдат впереди несут ружья, двое других — мишени в форме человеческих фигур. Коба и Мэлси шагают за взводом. Идут по главной улице города, по обеим сторонам которой, как гнезда ласточек, прилепились старые деревянные домики. На верандах стоят люди и машут им руками, а они важно вышагивают... Вышли за город, поднялись на холм и вскоре подошли к крепостной стене. Прошли под аркой и рассыпались по просторному, покрытому ярко-зеленым травяным покровом двору.

Коба и Мэлси вместе с несколькими солдатами вскарабкались на крепостную стену — и глазам их открылась Алазанская долина. Долго, как зачарованные,

смотрели они на привольно разлившуюся вдали Алазани, на раскинувшиеся до самой реки виноградники и пшеничные поля, на лазурный купол неба...

Тем временем в одном конце двора, возле ограды, солдаты установили мишени, а в противоположном конце устроили настил для стрелков. За мишенями, в углублении, среди камней, спрятался один солдат, и учения начались. Отец Кобы давал команды: «Ложись! Приготовились! Огонь!» Дядя Ноэ держал флажок, и когда отец отдавал приказ проверить мишени, размахивал флажком — подавал знак укрывшемуся в камнях солдату — тот вылезал и подсчитывал очки.

Мэлси остался на стене рисовать. А Коба, в восторге от пальбы, не отходил от отца, и ему казалось, что он бы с первого раза сумел всадить пулю в мишень. Когда солдаты кончили стрелять, отец разрешил и Кобе попробовать. Тот с радостью лег и вцепился руками в ружейный приклад. Ружье было с биноклем. Коба должен был посмотреть в бинокль, поймать мишень в пересечении линий на фокусе и плавно нажать на курок. Отец сначала заставил его несколько раз спустить курок вхолостую. Потом зарядил ружье и сказал: «Ну, теперь хорошенько прицелься!» Коба посмотрел в бинокль, прицелился и уже потянулся пальцем к курку, как вдруг отец закричал: «Не стреляй! Не стреляй!» И Коба увидел в бинокле, прямо на пересечении линий, солдата. Перепуганный Коба выпустил из рук ружье и взглянул на отца. Тот, смертельно бледный, какое-то время не мог вымолвить ни слова, потом зажмурился, глубоко вздохнул, встал и пошел к Ноэ. Солдаты застыли в оцепенении. Перепуганный и растерянный Ноэ смотрел затравленно, как застигнутая врасплох лиса.

— Ошибся я, товарищ комиссар. Я не знал, что ребенок... — заикаясь, пролепетал Ноэ.

— Смир-р-но!! — крикнул отец и схватился за кобуру нагана.

Ноэ стал навытяжку.

— Кру-гом!

Ноэ повернулся кругом и застыл в ожидании следующей команды. Лежащий на земле Коба хорошо видел, как дрожали ноги Ноэ, обутые в хромовые сапоги.

— Ложись! — крикнул отец.

Ноэ тут же упал на землю и почти скрылся в траве.

— Встать! Лечь! Встать! Лечь! — кричал отец, и Ноэ то ложился, то послушно вставал и вытягивался по стойке смирно. Лицо у него побагровело и покрывлось крупными каплями пота.

Кобе хотелось крикнуть отцу: «Отец, он ошибся! Ошибся! Прости его! Зачем ты так кричишь?!».

А отец все кричал... Потом приказал: «Шагом марш!» — и Ноэ зашагал вперед, прошел через арку ворот и исчез за оградой.

* * *

В институте уже начались зачеты, и Коба эти два дня сидел дома — надо было заниматься. В понедельник у него был зачет по сельскохозяйственным машинам, а он все не мог как следует взяться за учебник.

В субботу вечером прибежал Лео.

— Куда ты пропал? — налетел он на Кобу.

— А в чем дело? — Коба перекинул ногу на ногу и закурил сигарету.

— А ты что, ничего не слышал?! — удивился Лео, сел напротив Кобы и внимательно посмотрел на него.

Коба почему-то вдруг вспомнил о Манане. Сердце защемило, и он отвел взгляд от Лео.

— Что случилось? — опять спросил он, стараясь говорить как можно спокойнее.

— У Мананы отец скончался, — Лео раскурил сигарету, выпустил дым и добавил: — Я только сегодня утром узнал. Думал, ты там...

— Что с ним случилось? — Коба встал и подошел к окну. Он вдруг как-то сразу успокоился, как будто именно этой вести и ждал.

— Позавчера вечером скончался от инфаркта. — Лео тоже встал. — А вы с Мананой что, поссорились?

Коба лишь молча взглянул на него.

— Я сейчас оттуда, — продолжал Лео. — Спросил у Мананы, где ты, а она отвечает: «Не знаю, он у нас не появлялся».

— Не появлялся, говорит... — повторил Коба.

— В чем дело, объясни, — не отставал Лео. — Мы ведь с тобой друзья. Должен же я знать!

— Да я и сам ничего не понимаю... — процедил сквозь зубы Коба.

Лео удивленно посмотрел на него, потом улыбнулся, выпустил дым, хлопнул друга по плечу и сказал:

— Я все понимаю. Это у влюбленных бывает... Скорее одевайся и пошли. Жалко девушку.

— Чего же ты ушел оттуда? Не мог остаться?.. — огрызнулся Коба.

— Да что ты за человек?! — всплеснул руками Лео. — Еще два дня назад с ума сходил по девушке! А теперь у нее такое горе — отец скончался!..

— Отец! — вырвалось у Кобы. — Ты ничего не знаешь. И не надо тебе знать... Я не пойду. Иди сам и утешай!

— Чем могла Манана так провиниться перед тобой?!

— Тебе это знать необязательно, — махнул рукой Коба. — Иди, ты свободен! — добавил он, так как знал, что иначе от Лео не отделаться.

Лео постоял немного в задумчивости, потом направился к двери. Еще раз оглянулся на Кобу, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Коба прилег на тахту, потом взглянул на часы: было семь часов. «А ведь это я виноват в смерти Ноэ, — мелькнуло у него в голове. — Конечно, виноват. Если бы не я, он бы сейчас был жив! Хотя и он тоже виноват — в другой смерти... Но при чем здесь мы с Мананой?! Манана...»

Из другой комнаты доносился голос Лео: он разговаривал с матерью Кобы. У Кобы даже слезы навернулись на глаза, захотелось крикнуть: «Уходи! Убейся! Оставь меня в покое!». Но в горле застрял комок, и он не мог вымолвить ни слова. Лео с матерью еще какое-то время поговорили, потом вошли в комнату. Мать подошла к Кобе, а Лео остался стоять у двери.

— Сынок! — сказала мать. — Надо сходить, выразить соболезнование...

— Вы тоже пойдете, калбатано?.. — вмешался Лео.

— Я же тебе сказал — уходи! — Коба сел на тахте. — Уходи! И два-три дня не показывайся мне на глаза!

— Ты это серьезно? — недоверчиво улыбнулся Лео.

— Вполне серьезно! Уходи! Я в сочувствии не нуждаюсь!

Лео опять улыбнулся и взглянул на мать Кобы.

— Что ты говоришь, сынок!.. — начала мать.

— Мама, так будет лучше. Пусть он уйдет! — Коба лег и отвернулся к стене.

Лео постоял немного, потом обиженно проворчал что-то и вышел из комнаты. Следом за ним вышла мать.

Коба лежал, а в голове у него вертелись сотни разных мыслей: если я пойду туда, а меня не примут — поднимут обе, и мать, и дочь, крик: дескать, явился убийца... Что тогда? Но разве я виноват? Коба встал, закурил и заходил по комнате. А если я сейчас туда не пойду — навсегда потеряю Манану! — подумал он, и сердце у него сжалось. Неужели Манана меня не любит? Неужели отвернется от меня?!

Вдруг из прихожей донесся голос Мэлси. Он справился у матери о ее здоровье, потом спросил, где Коба. Коба опять подошел к тахте, лег и стал ждать появления брата.

В комнату вошли Мэлси и мать, подошли к Кобе. Мэлси обнимал мать за плечи. Вид у него был хмурый.

— Твой тесть скончался, — сказал Мэлси и достал из кармана газету. — Вот тут напечатан некролог, — он развернул газету и показал Кобе. — И фотография есть!

Мама взяла у него газету и молча взглянула на фотографию.

— Я сейчас оттуда, с панихиды, — Мэлси уселся на стул.

— Что? — изумленно переспросил Коба, сел и уставился на брата.

— Думал тебя там встретить... Меня ведь они не знают...

— Как! Ты был там?! — все не мог придти в себя от изумления Коба. — Этот человек с ума меня сведет! Что же тебя туда привело? Любопытство? Или...

— И то, и другое, — Мэлси прошелся по комнате, потом остановился перед братом:

— Отдаю должное твоему вкусу: Манана — дей-

ствительно красивая девушка! Уж в чем — в чем, а в этом я разбираюсь, можешь мне поверить! — он повернулся к матери: — Обе, и мать и дочь, выглядят такими несчастными и беззащитными... Ты должна туда пойти, мама. Они ведь ни в чем не виноваты.

— Конечно, схожу, сынок! — ответила мать и взглянула на Кобу. — Завтра вместе пойдем на похороны.

— Куда? — спросил Коба. — Кто нас там ждет?! Может, еще и прогонят... — он встал и подошел к окну, горечь душила его, он говорил с трудом. — Ноэ дважды выгонял меня. Говорил: «Видеть тебя не могу. Никогда не смогу полюбить!..»

Мать присела на стул и опустила голову. Мэлси не сводил глаз с брата.

— Мое появление жизнь укоротило человеку, — продолжал Коба. — А я пойду выражать соболезнование? Что я им скажу? Что разделяю их горе, скорблю вместе с ними? Разве они мне поверят?

— Удивительно, — задумчиво произнес Мэлси. — И ведь все по-своему правы!

* * *

Утром Коба встал совсем разбитый, с трудом передвигал ноги. Закурил сигарету и подошел к окну: стоял тихий солнечный день. Какое-то время бездумно смотрел на улицу. Потом вспомнил Ноэ, вспомнил, как он стоял пьяный на пороге и покачивался... Всплыла в памяти фотография со стертым лицом отца... «Нет! Раз и навсегда — нет!» Опять подошел к кровати, лег и уставился в потолок. Но о чем бы он ни начинал думать — тут же всплывало лицо Мананы и заслоняло все. Потом появлялся Ноэ, потом фотография...

Он встал, быстро оделся и вышел из комнаты. Мать заметила его из кухни и вышла в коридор:

— Иди поешь, сынок, потом пойдешь! — крикнула она ему вслед, но он уже был на лестничной площадке.

Бегом сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Тут только вспомнил, что два дня не брился — провел рукой по щеке и подбородку, покрытым жесткой щетиной. Махнул рукой и пошел дальше, и вскоре уже мчался в автобусе к Тбилисскому морю. Было часов

одиннадцать, когда он подошел к водной станции. На берегу суетились незнакомые парни и девушки — видно, новички. А тренер кричал им что-то и махал руками.

— Кого я вижу! — приветствовал Кобу сторож. — Куда ты пропал? Давненько тебя не было видно.

— А наших нет? — спросил Коба, пожимая ему руку.

— Ваша тренировка назначена на два часа, — ответил сторож. — А по утрам вот эти тренируются, — он махнул рукой в сторону новичков.

Коба спустился вниз, к воде. Там под навесом, уткнувшись в землю носами, лежали перевернутые байдарки. Сторож шел за ним. «Уж не тренироваться ли собрался?» — спросил он. Коба ничего не ответил, подошел к своей байдарке, провел рукой по ее отполированной поверхности.

— Кто-нибудь сажился в эту байдарку?

— Кажется, Виктор, — подумав, ответил сторож. — Да, Виктор. Его байдарка дала течь.

Коба перевернул байдарку, внимательно осмотрел ее, потом ухватил за нос и взглянул на сторожа: «Помоги!».

— Миша велел без него никого в воду не пускать! — сказал сторож, но байдарку все же поднял.

Они спустились к морю. Байдарка не была тяжелой. Коба не раз и сам поднимал ее, но сейчас помощь сторожа как бы означала его согласие. Они спустили байдарку на воду, Коба быстро разделся, сел, прикрылся кожей, укрепил ее, взялся за весло. Сторож руками удерживал байдарку, а когда Коба взмахнул веслом, он отпустил ее — и байдарка легко заскользила по воде. Парни и девушки, их тренер — все теперь смотрели на Кобу, потом тренер что-то спросил у сторожа.

Сначала Коба греб медленно, привыкал. Солнце поднялось уже высоко и порядком кусалось. Вдали плавали парусные лодки. Вскоре берег стал виден во всю длину. По нему сновали отдыхающие, кое-где в воде виднелись головы пловцов. Рядом пронесся катер, за ним на водных лыжах, красиво изогнувшись, мчалась Русико. Вскоре Коба так увлекся, что забыл обо всем

на свете. Руки постепенно налились силой, и он заработал веслом энергичнее...

Вдруг он увидел направлявшийся к нему катер. Кто-то, перевесившись через борт, усиленно махал ему рукой. Это был их тренер — Миша. Катер приблизился и сбавил скорость.

— Ты с ума сошел! — кричал Миша. — Сейчас же на берег! Разве можно столько работать!

Коба развернул байдарку и поплыл за катером. Миша продолжал бушевать. Он оглядывался на Кобу, отчаянно жестикулировал и кричал:

— То неделями не появляешься, а то вдруг соизволишь явиться и тренируешься бессистемно. Тебе что, жизнь надоела?! Надорваться хочешь?!

Коба одним глазом покосился на тренера: он был, конечно, рассержен, но в то же время чувствовалось, что он чем-то доволен.

— Когда надо, тогда не стараетесь! — опять повысил голос Миша. — Я даже не знаю до конца ваших возможностей!

Коба еще раз взмахнул веслом, и байдарка уткнулась носом в песок. Миша быстро спрыгнул на берег и продолжил проповедь с берега. Только теперь Коба почувствовал усталость, и руки у него бессильно повисли. Какое-то время он сидел неподвижно, и ему казалось, что он никогда не сможет подняться. Потом собрался с силами и встал — байдарка покачнулась, и он чуть не свалился в воду, но Миша вовремя догадался, что с ним что-то неладно, и схватил байдарку рукой, потом помог Кобе сойти на берег. Коба, с трудом передвигая ноги, подошел к скамейке, сел и закрыл лицо руками.

— Что случилось? Что с тобой? — подбежал всполошенный Миша и начал массировать ему руки и плечи. — Разве можно столько работать?!

— Да ладно, — Коба вытянул ноги и лег на скамью. — Миша принялся массировать мышцы на ногах.

«Манана» — мелькнуло вдруг в голове, когда боль немного отпустила, и Коба рывком сел. «Я должен ее увидеть... Я обязательно должен туда пойти!» Он взглянул на часы: было около двух. «Похороны в три, я еще успею...»

— Где моя одежда?! — крикнул он.

— Одежду! — крикнул Миша.

Прибежал сторож с одеждой, сложил ее на скамейку и сказал:

— Я же тебе говорил — нельзя! — и глянул на Мишу: дескать, не сомневайся, я действительно говорил.

— Миша, ты должен отвезти меня в Тбилиси! — Коба надел рубашку и взглянул на Мишин мотороллер.

Миша тоже посмотрел в ту сторону, потом зачем-то вынул из кармана ключи и взглянул на Кобу.

— У меня сейчас тренировка...

— Я должен успеть, понимаешь?! Обязательно должен успеть! — крикнул Коба.

Миша удивленно вытаращил глаза: он никогда не видел Кобу таким возбужденным.

— Как же мне быть с тренировкой?.. — задумчиво протянул Миша и подбросил ключи на ладони.

— Давай сюда ключи, я сам поеду! — Коба вскочил, выхватил у Миши ключи и побежал к мотороллеру.

Опешивший Миша только проводил его взглядом. Коба завел мотороллер, и он на большой скорости, с ревом стал подниматься вверх по склону. Теперь только Миша опомнился и побежал за Кобой: «Стой! Я тебя отвезу!» — но было уже поздно: мотороллер преодолел подъем и скрылся из глаз.

Впереди туго натянутой лентой тянулась дорога, и Коба все увеличивал скорость. Черный асфальт послушно стлался под колеса и убегал вперед. Встречные машины с шумом проносились мимо. Вскоре начался извилистый спуск, и показались первые городские постройки. Вдруг впереди появился неизвестно откуда взявшийся большой самосвал. Коба попытался затормозить, но колени у него задрожали, усталые мышцы словно одеревенели... Он сумел лишь повернуть руль — мотороллер наехал на левый бордюр и с ревом опрокинулся в кювет, увлекая за собой Кобу. Какое-то время они катились вниз вместе, потом Коба зацепился за куст... Приподнял окровавленную голову: все было подернуто красной пеленой. ...Из груди у него вырвался хриплый стон, он опять уронил голову на землю и потерял сознание...

Сверху к нему бежали люди.

Перевод Людмилы КРАВЧЕНКО

Рассказы

СВАНСКАЯ БАШНЯ

Я всегда завидовал Георгию. Разве можно не позавидовать человеку, у которого есть своя башня где-то в неприступных горах.

Каждый раз, когда я собирался поехать туда, что-нибудь, как назло, мне мешало. Так я туда и не добрался.

Как только Георгий оказывался чуть под хмельком, он начинал говорить о своем крае. Он очень гордился им и старался скрыть обуревавшее его чувство собственного превосходства, но под винными парами ему это плохо удавалось. Я никогда не обижался, да и что тут было обидного, тем более, что если уж и гордиться чем-то, то уж, наверное, древней родовой башней. К тому же, еще довольно крепкой...

Мы с Георгием оба ходили на лекции, порой вместо лекций заглядывали в хинкальную, оба пили, курили, балагурили, и все же Георгий был другой, держался как-то особенно, и я в глубине души завидовал ему. Уж и не знаю, догадывался Георгий об этом или нет.

...И ту осень мы, как водится, провели довольно беспечно. Ухаживали за красивыми девушками, бесцельно бродили по городу, а то и пускали в ход кулаки. Потом Георгий исчез. Бросил институт, все и вся и уехал куда-то в Россию. Он оставил мне записку, в ко-

торой попеременно с бранью просил не искать его и вообще не вмешиваться в его дела. Я ничего не понял, поначалу даже принял это за шутку, несколько раз перечел письмо, позвонил приятелям, сходил к родственникам Георгия, но так ничего и не смог выяснить. Две недели я ходил расстроенный, не зная, что и думать. Понемногу самолюбие взяло верх — если я ему не нужен, то нечего убиваться. И я успокоился.

Прошло несколько (уж и не помню, сколько именно) лет. Георгия никто не упоминал. Многие его помнили, но говорить о нем было всем неприятно, и мне в том числе.

Потом пришло письмо:

«Привет, дружище...

Постарайся понять, мне очень трудно писать тебе, вот я и начал так идиотски. Знаю, я уже не друг тебе и вообще никто. Сам удивляюсь, зачем пишу тебе, но мне очень тяжело, к тому же я и пьян немного и думаю, что этим письмом... Хотя это письмо не имеет никакого значения ни для меня, ни для тебя. Ну, в общем, хочу рассказать тебе, почему я так постыдно сбежал (очень мягкое слово, но ругать самого себя как-то трудно). Не думай, что хочу оправдаться... Нет, наверное все-таки хочу, хотя бы немного. Во всяком случае, я уверен, ты постараешься понять меня. Другие не станут утруждать себя этим. Если тебе покажется глупостью то, что я пишу, не беда, можешь считать меня идиотом.

Помнишь мою башню?

В нашем роду издревле вековала легенда, что никакой враг не может разрушить нашу башню, погубить нас, никто, кроме нашего же сородича. Башня рухнет на наши головы только тогда, когда кто-то из нашего рода внесет в башню краденую икону.

Мой младший брат (брат, понимаешь!) украл икону, спрятал ее в башне и продал какому-то туристу. Может быть, тебе это непонятно, но я не мог оставаться в Грузии.

И, что главное, ты думаешь, башня рухнула?

Башня стоит.

Стоит...»

АСТРОНАВТ И КАМЕНЬ

Астронавт лежал на сером песке и смотрел на небо. Небо было тоже серое, низкое, безотрадное. Там, где-то далеко, такое небо обычно предвещало дождь. Здесь же оно было таким всегда. Астронавт почувствовал невыносимую жажду. Второй (или третий?) день, вернее, вторые (или третьи?) сутки он мотался по изнуряюще однообразной и мертвой пустыне. Повсюду один лишь песок, песок да черные камни.

«Агония... Интересно, о чем думали другие? Вспоминали что любили и кого любили? Почему же я не... Агония... Красивое слово... Слово имя женщины или цветок! Агония... Гортензия... Глициния... При чем здесь все это?»

Астронавт почему-то успокоился и даже сам себе удивился. Болезненное возбуждение, прилив энергии, а затем постыдный панический страх, нахлынувшие на него после катастрофы, куда-то исчезли. Вряд ли он примирился с неизбежным. Но устал.

Корабль превратился в груды лома, и астронавт почему-то пожалел о том, что сам не стал кучей мяса и костей.

Спасения ждать неоткуда.

Этой планете, у которой не было даже названия и которая была совершенно одинока в радиусе миллиарда километров, суждено было стать пристанищем, вернее могилой, единственного человека.

«Если когда-нибудь случайно наткнутся на эти обломки да на мои останки, назовут планету моим именем», — подумал астронавт и ему стало приятно.

Уже ничего не имело смысла. Астронавт лежал в песке, равнодушный и спокойный, и пытался вспомнить тех, кого любил, и что любил, но не мог вспомнить, ничего не мог вспомнить, вообще ничего.

Потом ему стало жаль самого себя, и он пожалел о напрасно потраченных и бесследно угасших годах.

«Боже, что я хотел? Чего искал? К чему стремился? Нет, вовсе не удивительно, что я мог усидеть там, дома, на земле, и не усидел, нельзя жить в цветнике, в

теплице, даже в очень красивой, нарядной и комфортабельной... Но что искал я в космосе? Что он мне дал? Пустоту, беспредельную пустоту. Искал приключений? Доискался... Жажда убьет меня, как бедуина... При чем тут бедуин?.. Я обманывал себя? Вот я, поглядите, какой умный, сильный, бесстрашный, стремлюсь к звездам, никогда не отступаю, ну просто герой!.. Нет, если бы я открыл что-нибудь ценное, ну, не цивилизацию, но хотя бы следы жизни, что бы это во мне изменило? Легенду одного человека я сделал бы общественным достоянием и все тут? Но разве стоило ради этого?..»

Астронавт лежал, сложив руки на груди, и смотрел на небо.

Но вдруг какое-то необъяснимое ощущение заставило его подняться. Маленький черный камень катился к нему по подъему, не оставляя за собою следа.

«Ну вот... Галлюцинации начались... К тому же такие идиотские!..»

— Почему это идиотские?

— А?! — У астронавта еще сохранилась способность изумляться. Голос, казалось, звучал отовсюду, но астронавт уставился на камень. Вокруг никого и ничего не было, только серый песок. Лишь вдали смутно вырисовывались большие черные глыбы.

— Только этого мне не доставало, быть галлюцинацией, да еще идиотской!

Камушек подкатился ближе и остановился. На астронавта напал истерический хохот.

— Чего ты смеешься? — изумился камень.

— А как же, можно сказать, сбрендил перед смертью, да еще и не смеяться? — астронавт перевел дух.

— Д-да, столько наслышался о земных дуралях, но такая чушь! Такая невообразимая чушь!

— Что-что?! — астронавт неожиданно для себя рассердился.

— А то, сударь мой, что тот, кого ты искал всю жизнь, перед тобой, но я не вижу, чтоб ты пришел от этого в восторг.

— Что? — растерялся астронавт.

Камень хмыкнул, попятился и — исчез из виду.

«Какой абсурд — говорящий камень, притом такой невежливый и претенциозный... Значит, я умираю».

Прошло некоторое время, может, час, а может, больше. Астронавту было уже все равно, как вдруг послышалось:

— Эй, ты!

Это вернулся камень.

— Не отстанешь ты от меня? Кто бы ты ни был, отстань, не видишь, я умираю, что тебе нужно? — в отчаянии взмолился астронавт.

Наступило молчание. Потом, видимо, пристыженный, камень произнес довольно почтительным тоном:

— Меня наказали родители, со мной никто не играет, никто не разговаривает. Я все время один, совсем один, а я еще маленький, мне нет еще и одиннадцати миллиардов лет.

Это уже начинало походить на фарс. Человеку стало жаль камня, но он не знал, чем ему помочь. Все было так реально и вместе с тем так невероятно, что он уже и не пытался в чем-либо разобраться.

Камень, видимо, это почувствовал и осмелел:

— Если родители мои узнают, что я с тобой разговаривал, мне здорово достанется. Контакты с вами, не обижайся, воспрещены законом, ведь во всей Вселенной вы, люди, считаетесь дикарями. И знаешь, почему? Потому что вы еще не разобрались в самих себе, а обо всем рассуждаете. Не замечаете самого элементарного. А если и замечаете, то не верите в это, а потом утверждаете, что, кроме вас, никого и ничего не существует.

Астронавт молчал. Да и что ему было говорить, ведь до конца он все же не верил, не мог поверить в то, что происходит. К тому же ему было все равно, ведь скоро он должен умереть.

— Вот ты опять думаешь только о себе. Больше ничего тебя не интересует. Разве можно так жить?

— Знаешь, может быть, все обстоит именно так, как ты думаешь, но кто дал тебе, щенку, право учить меня уму-разуму?! Вот возьму и швырну тебя отсюда! — рассердился астронавт.

Камушек печально пробормотал:

— А я еще хотел тебе помочь...

Человек горько усмехнулся.

— Чем ты можешь помочь мне, где у тебя силенки, малыш?

— Ты смеешься надо мной и не веришь... — рассердился и камень. — Очень хорошо, я спасу тебя, от твоего имени вызову ваш патрульный корабль, который болтается теперь в этом секторе, но как ты пожалеешь потом, когда станешь посмешищем всего мира... Ты так безрассуден, что расскажешь все, а они столь безрассудны, что ничему не поверят. Что ж, до свидания, человек.

— До свидания, до свидания, мой Джомолунгма!

Астронавт погрузился в песок, бессмысленно смеясь.

Через месяц астронавту было вовсе не до смеха — к несчастью, а быть может, к счастью, все произошло именно так, как предрекал камушек.

Ф И Л ь М

«Примитивно мыслишь», — сказал ему кто-то. Хотя, вполне возможно, что это он сам себе сказал, сам понял это... Но нет, видно, и вправду это кто-то сказал, но он не вспомнил, кто именно, был здорово пьян, валялся с закрытыми глазами в кресле и старался разобраться в том, кто и почему это ему сказал, или, может быть, все-таки в том, что же он понял сам и что же успел забыть... Нет, ему не так было сказано — мол, примитивно мыслишь, — как-то иначе, другими словами. «Ты мыслишь, но примитивно излагаешь», — и как будто еще сказали, или ему это померещилось, — мол, одного желанья мало, надо еще обладать чем-то истинным — интересной идеей, интересной историей, проблемой... Ну а желание высказаться и выразить нечто свое свойственно всякому, но не все же становятся режиссерами, да и не могут стать, и никакие киноинституты тут не помогут; каждый почему-то уверен, что может быть режиссером, все видят сны, а сны есть индивидуально

преломленная внутренняя проекция внешнего мира, но создать обратную проекцию этой проекции, точнее, вывести ее изображение, и есть самое трудное дело, почти что невозможное, на это способны только единицы...

Он способен, и вправду способен, он почти уверен в этом. Но кто-то сказал ему — примитивно, мол, мыслишь, схематично, банально, твой фильм — банальная схема примитивной идеи, по форме он слишком оригинален, так нельзя, это провинциализм, дешевый авангард и ложный, претенциозный киноинтеллектуализм... Может, он и вправду сам все это понял? Иногда еще ничего, все не так страшно. Вдруг вспомнил, что фильм — это материализованная аналогия сна, его собственный вымысел, и обрадовался. Затем вновь засомневался — а может, это и вправду ему кто-то сказал?

Все смешалось в его сознании, словно изрезанная на монтаже кинолента. Он был обижен. Обижен и рассержен. Но на кого? Кто обладал правом столь жестокого и окончательного приговора? Что он знал? Что понимал? Что сам представлял из себя? Дилетант? Кинолюбитель? Вдруг смешался — о ком это он? Не о себе ли самом? Или о том, другом? Или об обоих вместе? Он отождествил себя с ним или раздвоился? Непонятно. Быть может, фильм и вправду никуда не годится, но сколько он потратил на него энергии, времени, сколько дней и ночей. А что в итоге? Ничего? Нет, фильм и ему самому не нравился, слава богу, уж он понимал, что восторгаться тут нечем, но неужели в нем и вправду нет ничего? Претенциозный примитивизм? Поза? Нет, у него определенно были кое-какие прозрения — хотя бы само решение фильма достаточно интересно. Ну а замысел, замысел, быть может, и впрямь был примитивен, но то, что казалось примитивным, было всего лишь приемом, а не потугой на оригинальность. Не поняли? А вроде все должно было быть очевидным.

Начнем с того, что это за вопрос — почему действие происходит только на крыше? Почему оно не может происходить на крыше? Что в этом такого? К тому же он нашел очень подходящую крышу шестнадцатизэтажного дома, огромную, как полигон, длинную, ровную, покрытую черным гудроном, с шестью бетонными ку-

бами для лифтовых механизмов, уродливыми, грязно-серыми. С крыши был виден весь город.

И еще одна вещь ему здорово понравилась. На крыше стояла маленькая клетка из железных прутьев. В ней жила красивая охотничья собака с очень красивыми и жалобными глазами. Ее и вправду было ужасно жаль в этой клетке. Но поначалу все восприняли ее как символ, к тому же как примитивный. Кадр сам по себе был очень интересный, тот, первый — собака в клетке над городом. Идет дождь, точнее, моросит. Крупным планом — катящаяся по собачьему носу дождевка. Быть может, это выглядело на экране сентиментально. К тому же он уже видел нечто подобное. Он вспомнил об этом сам, а быть может, ему и напомнили об этом. Но разве он хотел показать, что собака плачет? Просто идет дождь, и охотничья собака сидит совсем одна в клетке над городом. Нет, конечно же, он чувствовал, что это дешевый кадр, весьма банальный. Но разве по одному этому кадру можно судить о фильме?

Затем прояснилось, и на крыше появились люди. Он ни разу не показал ни одного лица, только тела, только руки и ноги, и эти безголовые люди почему-то оказались чрезвычайно раздражающим зрелищем. Раздражающим потому, что неожиданным? Непонятным? Что, мол, ты хотел этим сказать? У них нет голов потому, что они в них не нуждаются? У них и вправду нет голов? Нет, есть, но что толку?..

Их было пятеро. Девушка и четверо парней, высоких и худых. Лишь один был толстым. Точнее, обрюзгшим. На всех были джинсы, такие же, как на каждом студенте. И девушка была в джинсах. Она была очень хорошо сложена.

Он целый год искал такую. А когда нашел, то еле уломал сниматься. Нет, красивой ее нельзя было назвать, отнюдь. Когда стал объяснять знакомым, какую он ищет девушку, то у него возникло лишь одно сравнение — она должна вызывать ассоциацию с итальянской спортивной машиной.. Это многих насмешило.. И парней он подбирал долго, у них были интересные пальцы: У одного — худые, тонкие, изящные и нервные, пальцы скрипача или карманника. У другого — тоже длинные, но сильные, жесткие и в то же время аскетич-

ные. У третьего — белые, ухоженные, мягкие, но все же достаточно мужественные. У четвертого — будто уродливые обрубки, огромные, словно высеченные из камня или окаменевшие, деформированные и жесткие... Они по очереди появились в кадре, окружили клетку. Собака при виде них завиляла хвостом, затем стала подвывать, ощерилась, испугалась чего-то. У первого в руках был магнитофон. У третьего — сумка. Они сели перед клеткой, прислонившись спиной к стене бункера, достали из сумки бутылку водки, маленькие пластмассовые стаканчики и включили магнитофон.

Теперь фильм шел под музыку. И мелодию он подобрал с трудом, долго искал такую, какую хотел — долгую, протяжную, непрерывную, навязчивую, простую, но в то же время громкую, словно звуки африканского тамтама. Никто на протяжении всего фильма не произнес ни слова. Первый достал из кармана пачку «Казбека», развернул папиросу, высыпал табак, что-то растер пальцами, смешал с табаком и вновь скрутил папиросу, он работал очень споро, профессионально, красиво. Третий откупорил бутылку, разлил по стаканам, они подняли стаканы и опустили их пустыми. Первый передал папиросу четвертому, тот зажег ее, затем передал девушке, девушка спустя некоторое время передала второму, второй — первому, а первый уже почти что до конца выкуренную папиросу — третьему. Третий вновь наполнил бокалы. Бокалы поднялись в воздух и вернулись в кадр пустыми. И вторую папиросу они раскурили точно в такой же последовательности. Вновь разлили и вновь опорожнили стаканы. Все это он заснял предельно крупным планом, на экране были видны только руки, которые, казалось бы, производили одни и те же движения — поднимали стаканы, передавали папиросу, но каждый делал это по-своему, как-то особенно. Он смонтировал все короткими эпизодами, отрывистыми, в такт музыке, чтобы получилось как можно динамичнее — по его замыслу, на фоне однообразной, утомительной музыки многократно повторяющиеся монотонные движения должны были создавать особенный эффект, но все это зрелище тем не менее оказалось весьма утомительным. Он так и не понял, удалось что-то изменить с помощью монтажа или нет...

Постепенно движения их замедлились, стали вялыми и ленивыми, и музыка зазвучала тише и глуше. Руки стали похожи на выброшенных на берег рыбешек — то одна странно вздрагивала, то другая. Но вот четвертый сжал своими обрубками пальцы девушки, так, что они побелели, потом накрыл их своим огромным кулаком, словно и ласкал их и в то же время причинял боль, но девушка не сопротивлялась и он ласкал ее руку поначалу осторожно, потом все сильнее, яростнее, страстно, он с такой силой сжал ее, что чуть было не переломил кисть, и вдруг отпустил и бессильно расслабил руку. Девушка перевернула пылающую ладонь и очень осторожно пошевелила пальцами. Первый держал руку третьего и мял ее. Второй сжал руку в кулак.

Эти кадры наплывали друг на друга: девушка — четвертый, кулак, первый — третий, девушка — четвертый, кулак, девушка — четвертый, кулак, первый — третий, девушка — четвертый, кулак, четвертый, кулак, девушка... Четвертый встал и подошел к клетке. Камера последовала за ним. В кадре появилась собака. И вдруг на глаз собаке упал плевок, собака шарахнулась, бросилась на дверь клетки, еще раз упал на нее плевок, и собака взвизгнула. На экране появилась рука второго, медленно и неуверенно поползла по гудрону к руке девушки, остановилась, рука девушки двинулась ей навстречу, но отпрянула. Четвертый стоял у клетки. Пальцы первого покоились в ладони третьего. Рука второго судорожно схватила ладонь девушки. Четвертый внезапно обернулся. Сделал неожиданно большой шаг и ударил второго в живот ботинком сорок восьмого размера. Второй упал, затем с трудом встал, поспешно вытащил из кармана ложку и угрозил ею четвертому, но тот опередил его, одной рукой прикрылся, другою же перехватил занесенный удар, заставил второго выпустить из рук ложку и еще раз со всей силой ударил его ботинком в живот. Первый и третий по-прежнему сидели рядом. И девушка тоже не шелохнулась. Четвертый потащил второго, словно куля, к перилам и сбросил вниз. Камера кинулась за вторым, в кадре закружились земля, небо, дома. Второй постепенно уменьшился и распластался на земле. Девушка вскочила и подбежала к перилам. Четвертый

вынул из кармана резиновые перчатки и надел их. Первый и третий по-прежнему сидели рядом. Труп второго некоторое время лежал без движения, потом встал и пошел привычным шагом.

Четвертый и девушка вернулись на свои места. Девушка налила ему водки. Он выпил. В кадр вошел второй. Принес новую бутылку водки. Третий откупорил ее, наполнил стаканы, все выпили. Внезапно изменился свет, стало пасмурно, пошел дождь. Они быстро собрались, сложили бутылки и стаканы в сумку, выключили магнитофон и вышли из кадра. Финальная сцена фильма повторяла начало — промокшая охотничья собака в клетке над городом, совсем одна... Как только фильм кончился, поднялся невыносимый гвалт. Сильнее всего его удивил один возглас — «Это снобизм! Ребяческий снобизм!» Снобом он уж точно не был, напротив, он не выносил снобов так же, как и мюзиклы. А вообще-то ему с самого начала понравилось, что фильм вызвал споры, но потом он растерялся, такие странные, почти фантастичные мысли ему приписывали, что он даже пожалел о том, что вообще взялся за это дело...

Поначалу разгорелся спор о названии. Почему, мол, назвал фильм «Кишки»? Назвал, и все тут. Как-то ведь нужно было его назвать! Да, но почему именно «Кишки»? А потому, мол, что не «Эпопея челюскинцев», или к примеру, «Фестиваль Вудстока», или любое другое название. Подобная логика никого не удовлетворила. Кто-то прочел ему трехчасовую лекцию о том, что, оказывается, абсурд как направление в искусстве уже давно устарел, вышел из моды и сегодня подобный фильм есть не что иное, как повторение пройденного, ну а попытка эпатирования публики явственно свидетельствует о режиссерской несостоятельности, о том, что он надеялся произвести эффект дешевыми приемами, и вообще — что он хотел сказать своим фильмом? То, что он хотел сказать, он уже сказал, и когда от него в категорическом тоне потребовали комментариев, обиделся, но когда его стали учить уму-разуму, рассердился и еле сдержался — уж очень ему захотелось оттащить оратора к окну... А тот спокойно, менторским тоном продолжал: Если фильм задуман как так называемый

«черный юмор», тогда он и должен быть «черным юмором», если же это серьезный фильм, то должен быть серьезным до конца, так что это все же такое — фарс, гротеск или драма? Все ложно, нереально, преувеличенно и надуманно — никто не поднимается на крыши, чтобы распить бутылку водки, к тому же эти руки — омерзительное, отвратительное зрелище, что они друг с другом делают? Это что? Садизм? Секс? Непристойное зрелище! Какой еще там натурализм?! А что говорить об оплеванной собаке... У нас еще не появлялось ничего столь вульгарного и безвкусного. Если в фильме предпринята попытка разрешить какую-то проблему, то это проблема ложная, высосанная из пальца, здесь все ложь, и вообще!..

...Он очнулся, открыл глаза, но не вспомнил сразу, кто он и где находится. Голова раскалывалась. Видно, он уснул, сидя в кресле. Комната была ярко освещена. «Надо закрыть диафрагму», — невольно подумал он. Заметил на стене белый квадрат. Квадрат двигался, молниеносно перемещался вправо и вновь возникал на прежнем месте. Он опять был пьян. В глазах рябило. Он с трудом оторвал взгляд от стены. Увидел стол, уставленный пустыми бутылками, наполовину наполненными бокалами, грязными тарелками и до самого фильтра выкуренными окурками — пиршественный натюрморт, композиция перенасыщена. Потом взгляд его упал на брошенный в углу кинопроектор, и он вспомнил — он у себя дома, гости разошлись, сегодня была премьера его первого фильма.

Перевод Динары КОНДАХСАЗОВОЙ



Тот день

День тот в сердце лег тоскою.

День был днем, река — рекою,

Не сверкал клинок турецкий,

Перс не шел на нас войною.

Слух наш не был растревожен

Речью странной иль чужою,

По горам струилась дымка

Трепетной голубизною,

Жизнь была светла, как чаша

С благодатною росой.

Сын играл, отец был пахарь,

Мама — жницей молодою...

Теплый ветер занавеску

Трогал ласковой рукою.

Все на свете было мирно,

Все звало к любви, покою,

И ничто нам не грозило

Злом, печалью или болью...

Но как будто вздох последний,

Стон предсмертною порою —

Отчего? Зачем? Не знаю,

День тот в сердце лег тоскою.

* * *

Я здесь стою.

Рядом — тень матери.

Там — на другой стороне

Слезы истинные меняют

На золото настоящее...

Но пусть моя слеза

Здесь и останется —

У крепости разрушенной...

Не взятой!

Мемориал жизни

Горька наша встреча, как приговор.
Брошенный дом, потухший очаг.
Кто же в дорогу позвал, и кого
Мне искать? Боль пронзает каждый мой шаг.

Не мычат под старым навесом быки,
Высохла вишня, что дед сажал.
Стены молчаньем не скроют тоски,
И скрипят, стонут ступени — память свежа!

Но,
Словно жизни мемориал,
Прекрасен, строг и высок,
Под ветром на черных ветвях —
Персика цветок!

* * *

Глыба —
Всего лишь глыба —
Пока не станет камнем
Могильным.

Я повторяю себя

Повторяю себя,
каждый день, ночь, миг.
А когда обнаружилось это,
Пошел закрут в неведомую сторону...
Я прошелся чужою походкой,
по-другому уснул
и проснулся я по-другому —
как это делают люди значительные!
Но тут я себя потерял и
начал искать в толпе многолюдной.

А в это время, как оказалось,
был я в деревне у мамы,
в мамин подол зарывался
и в который раз уже спрашивал,
сколько рядков кукурузы надо еще прополоть.

* * *

Очень скоро
Нас покинут журавли,
И вернутся
Очень скоро журавли.
Очень скоро
Расцветет краса долин,
Очень скоро
Облетят цветы на них.
Очень скоро
Вырастает детвора,
Очень скоро —
Старости пора.
Очень скоро,
Слишком скоро
Затушит о нас земля...

Мнится мне,
Что наши жизни —
Камни, брошенные в небо.

Перевод Олега КАЗАКОВА



Алаверды

Алаверды — к тебе!
 Стихом заздравным
 я утолю твои страданья и печали.
 Пускай навек отныне станет явным
 все то,
 о чем два сердца умолчали.

Но как,
 минуя кручи и обочины,
 найти нам в жизни путь —
 и в зной, и в стужу, —
 когда того, что видим мы воочию,
 не спрячем в сердце —
 навсегда,
 поглубже...

* * *

Друзья!
 По жизни мы шагаем
 с удивленьем
 (когда поет душа, —
 чего ж еще нам надо?),
 но боремся,
 чтоб смерть
 поставить на колени;
 порой, посеяв скорбь,
 мы пожинаем
 радость,
 а уходя из мира
 безвозвратно,
 оставим бьющий ключ мечты
 тревожной...

Слова поэта, —
горечь,
боль утраты, —

ты жадно пьешь,
но жажду утолить
не можешь!..

Из окна самолета

Горы—как стопы спрессованных листьев,
не пожелтевших

от гнета веков...

А над вершиной Казбеги повисли
простыни
выстиранных облаков.

Из-под фаты золотистой тумана
солнце

слепящее золото льет...

Кажется мир безмятежно-безграничным,
будто бы нет в нем ни зла, ни забот!..

Перевод Николая АСТАХОВА



ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАКАРА АНДЗАВЕЛИ

Р о м а н

Глава первая

Доцент Онисифорэ Гивисванидзе решил раз и навсегда бросить охоту, тем более, что никогда не был заядлым охотником, а ружье купил, не желая отставать от других. К тому же семья, служба, докторская диссертация — все это отнимало уйму времени и сил. Искать зверя приходилось в окрестностях Тбилиси, и не то что медведя или лисицу, даже зайца не удавалось выследить. Вот и решил Онисифорэ еще раз напоследок побродить по марнеульским лесам и никогда больше не ходить на охоту.

Охота оказалась неудачной, он лишь попусту бродил по зарослям. К вечеру Онисифорэ почувствовал усталость и, помянув в сердцах недобрым словом того, кто выдумал охоту, свернул к автомобильной дороге.

Он выбрался из оврага и приблизился к холму, за которым начиналось шоссе Баку — Тбилиси. Вдруг в конце оврага, поблизости от скопления огромных камней, он заметил какого-то человека. Незнакомец сидел на большом валуне, уронив голову на руки, и было непонятно, спал он или бодрствовал. Может быть, даже умер.

Хоть я и устал, подумал Онисифорэ, но, возможно, этот человек попал в беду, не следует оставлять его без внимания, а то потом неприятностей не оберешься. Дело в том, что сосед Онисифорэ доцент Евстахий Кемоклишвили был его конкурентом в борьбе за должность заведующего кафедрой, и в последнее время Онисифорэ несколько раз подмечал, что носатый, жилистый, как бегун на длинные дистанции, очкастый Ев-

* Журнальный вариант

стахий знает кое-что такое из прошлого Онисифорэ, о чем тот и сам усердно старался забыть.

«Вот так всегда, — подумал Онисифорэ, — даже здесь, на безлюдной поляне, я должен бояться этой очкастой змеи».

Уже стемнело, но Онисифорэ все же ясно разглядел, что незнакомец был одет довольно странно.

Такое одеяние Онисифорэ видел в тбилисских музеях, на древних грузинских фресках. Незнакомец был одет в потрепанную, побелевшую на швах чоху неопределенного цвета, на ногах у него были сапоги с высокими каблуками и загнутыми кверху носами. Когда-то, вероятно, они были желтого цвета, но от ветхости совершенно выцвели и потрескались. На спине у незнакомца был вышит огромный белый крест.

Старик был совершенно лыс, только возле ушей, казавшихся восковыми, сохранились клочья грязно-серых волос. Он сидел неподвижно, прикрыв левой рукой глаза, а правой упираясь в камень.

Онисифорэ поправил ружье и кашлянул.

Старик вздрогнул, повернулся всем телом, и, обратив к Онисифорэ усталое, изборожденное морщинами лицо, взглянул на него налитыми кровью глазами. Потом, с трудом привстав, он застонал и, тяжело кряхтя, медленно выпрямился.

— Что вы здесь делаете? — спросил Онисифорэ и внимательно оглядел старика с ног до головы.

— Ничего... — Старик опять застонал и прикрыл глаза рукой. Потом он с сомнением взглянул на Онисифорэ. — Ты грузин, сынок?

— Грузин, — ответил Онисифорэ, подумав при этом, отчего это грузину стало в диковинку встретить в этих местах грузина.

Старик окинул взглядом одежду Онисифорэ, но глаза его еще были полны сомнения. Однако он ничего более не сказал и почему-то посмотрел в сторону леса.

— Не найдется ли у тебя кусочка хлеба? Думаю, когда узнаешь, кто я, не попрекнешь меня.

Онисифорэ достал из кармана завернутый в газету хлеб с сыром и протянул незнакомцу.

Старик, по-видимому, был очень голоден. Привиде хлеба глаза его вспыхнули безумным ог-

нем. Он взял хлеб дрожащей рукой, но все же попытался есть неторопливо, стараясь соблюсти благопристойность. Каждый кусок он подолгу пережевывал, и несколько раз даже стряхнул крошки хлеба с чохи.

«Каналья, не иначе как из тюрьмы бежал, — подумал Онисифорэ. — Он, должно быть, хевсур, убивший кого-то. Вот не было печали! Чего доброго, Евстахий еще ляпнет на собрании, что я пособничал преступнику».

Старик кончил есть, вытер губы ладонью и с благодарностью взглянул на Онисифорэ:

— Спасибо, сынок, вот напиться бы еще и больше мне ничего не надо... Так... Не хочешь ли теперь узнать, кто я?

— Да, было бы интересно.

— Я, сынок, придумал грузинский алфавит.

— Кто, вы?!

— Да, это я придумал алфавит. Грузинский. Давно это было. А пришел я с того света.

«Ненормальный, — Онисифорэ даже похолодел от этой мысли. — Только этого не хватало».

— Ты удивлен? — Старик улыбнулся, обнажив по черневшие зубы. — Разумеется, удивлен. Скажи мне, сынок, у вас, нынешних грузин, действительно есть такое слово — «давление»?

— Есть.

— А-а-а. Недавно помер один врач. Так вот повстречался он мне на том свете и сказал, что умер от давления. По-моему, сегодня я испытал то же самое. Возвращаясь с того света, поначалу я шел легко, без усилий. А потом, по мере того, как я спускался все ниже, у меня усилился шум в ушах. Голова разболелась так, что, казалось, череп раскалывается. Сейчас, правда, стало немного легче. И все же наша земля исполнена благодати, не так ли?

— Э-э, да-да, конечно!

— Большое спасибо за угощение. Так ты грузин?

— Грузин.

— Значит, мне повезло. Сказать по правде, одежда твоя кажется мне странной. Хотя и в мое время в Грузии было много инородцев. Это хорошо, что ты грузин, сынок. Не хочешь ли узнать, что заставило меня вернуться с того света?

— Э-э, да, интересно.

— Беспокойство, сынок, овладело мной. С некоторых пор я даже сна лишился. Ну, придумал я алфавит, оставил его людям, а дальше что? Пользу или вред он принес? И как-то они сами живут-поживают? Вот как родитель тревожится о детях, оставшихся без присмотра, так и я не находил себе места от мучивших меня мыслей о судьбе моего алфавита. Дай, думаю, опущусь на землю, пройду по родным местам, взгляну на рожденные мной буквы, узнаю, каково им живется, и вернусь обратно на тот свет. Ты первый человек, которого я встретил, а раз ты, к счастью, грузин и даже успел угостить меня хлебом-солью, то не откажись, сынок, сопровождать меня по нашей родной Грузии. Исполню я свое сокровенное желание и вновь вернусь на тот свет. Ну как? Согласен?

«Как складно излагает, черт возьми, — подумал Онисифорэ, — чистой воды помешанный. Недаром психиатры утверждают, что иногда только после стационарного наблюдения удается распознать сумасшедшего. А ведь неизвестно, кто его родные. Узнают, не дай бог, что я бросил в лесу беспомощного, больного, — опозорят на всю жизнь. Евстахию Кемоклишвили только этого и надо».

— Извините, как ваше имя?

— Бакар, сынок, Бакар Андзавели.

— О, прекрасное имя, — Онисифорэ поправил ружье и задумался, не сводя глаз со старика.

«Наплевать! — решил он наконец. — Разузнаю, откуда он, где живет, и отведу к родным. Вероятно, он из Тбилиси или какого-нибудь окрестного села. Сдам его близким, и все увидят, какой я добрый человек. А Евстахий Кемоклишвили останется ни с чем».

— Э... батано Бакар... я все понимаю. Вы давно покинули этот мир, но... не помните ли вы, где жили в последние годы, перед смертью?

— Как же, хорошо помню. Жил я в Антиохии, в обители Симона Чудотворца, на Черной горе. Не слышал?

— Да, да, знаю, знаю... с семьей жили?

— Ни жены, ни детей никогда у меня не было.

— Братья? Сестры?

— Брат у меня был. Г'варами. Молодец был хоть куда.

— Где он жил?

— В Тбилиси. Близ Анчисхати.

— Близ Анчисхати?! Тогда вот вам мой совет, батоно Бакар: давайте найдем дом вашего брата.

— Да, но...

— Анчисхати совсем недалеко. А по дороге встретимся с вашим алфавитом.

— По дороге?! С алфавитом?!

— Ну конечно, сейчас ведь не старое время, когда писали на пергаменте и хранили рукописи за семью замками.

— Да, да! Об этом и я кое-что слышал. Говорят, ныне мой алфавит очень распространен. Что ж, пойдем?

— Пойдем, батоно Бакар, пойдем.

Миновав возвышенность, они спустились к совершенно пустынному в этот час шоссе. Онисифорэ неторопливо шагал рядом с Бакаром и время от времени обращившись, не показался ли автобус. Так они дошли до поворота. Неожиданно Бакар остановился и вцепился в руку Онисифорэ. Онисифорэ обернулся к нему. И без того бледный старик совершенно побелел, глаза у него стали впрямь как у безумного, даже брови покрылись потом. Вцепившись в Онисифорэ дрожащей рукой, он горящими глазами смотрел куда-то вперед.

— Посмотри... — вырвалось со стоном у Бакара.

— Это они!.. Я узнал их! Точно — они.

Он мгновенно сорвался с места и побежал по дороге.

У самого поворота к дорожному столбу был прибит плоский широкий указатель, на котором крупными красивыми буквами было написано: «До Тбилиси — 20 километров».

Бакар, с трудом волоча ноги, подошел к столбу.

— Они... я узнал их... мой алфавит... тари, бани... вот и ани... ани! Моя ани!¹ Моя первая буква! Они... Дорогие вы мои! Погоди... До Тбилиси двадцать километров... Так, значит, двадцать? Вот как?! Ох, дорогие вы мои! Так, мóлодцы, так! Значит, стойте здесь и указываете людям дорогу. Здрóрово, мóлодцы!

¹ Ани, бани, тари — буквы грузинского алфавита. (Здесь и далее примечания переводчиков).

У Бакара сорвался голос. Трясущимися руками он обнял столб и зарыдал.

«Видимо, он раньше работал наборщиком, — подумал Онисифорэ. — Точно. Потому-то и бросило его в дрожь при виде букв.»

Довольно долго стоял Бакар, обнимая столб. Потом выпрямился, утер глаза ладонью, тайком взглянул на Онисифорэ и двинулся к нему. Подошел, обнял его, поцеловал в плечо и с трудом вымолвил:

— Прости меня, сынок... Давеча я не поверил, что ты грузин. Одежда твоя сбила меня с толку. Ну а теперь... Да, сынок, я действительно в Грузии. Вот!.. — Он взглянул на столб, и глаза его радостно заблестели. — Смотри!

Онисифорэ ласково погладил его по плечу. Он чувствовал, что надо что-то сказать старику, но ничего не смог придумать.

— Не передумал ли ты, сынок, сопровождать меня?

— Как вы могли подумать?

— Тогда пошли. Встретить бы еще разок где-нибудь мои буквы, больше мне ничего и не надо.

— Пойдем.

Пройдя шагов двадцать, они услышали шум мотора. Из-за поворота показался желтый автобус. Он двигался довольно медленно, но все равно вскоре поравнялся с нашими путниками. Грузный черноусый шофер удивленно покосился на странных путников. Автобус остановился, и дверцы с шипением открылись.

Бакар остолбенел от изумления. Онисифорэ усмехнулся про себя, положил ему руку на плечо и помог сесть в автобус.

Усатый шофер взял у Онисифорэ рублевку, исподлобья вопросительно взглянул на него, как бы думая, не оторвать ли билеты. Онисифорэ сделал щедрый жест рукой, усадил Бакара на переднее сиденье и сам устроился рядом. Автобус, зарокотав, покатил по мокрому асфальту.

В тот же миг Бакар схватил Онисифорэ за руку и указал ему глазами на привлекающую его внимание надпись.

«Курить запрещается» — было выведено на стене крупными красивыми буквами.

— В чем дело, дядя Бакар? — ласково спросил Онисифорэ.

— Что означает слово курить, мне оно незнакомо. Объясни мне, пожалуйста, что это такое и вообще для чего здесь эта надпись?

«Как же ты дожил до старости, дружище, и ни разу не слыхал про табак и сигареты», — подумал Онисифорэ, окончательно убедившись, что его спутник не в своем уме. Но что оставалось делать. Он взялся довести старика до Тбилиси и сдать его родным, а принятые решения Онисифорэ всегда выполнял неукоснительно. Кроме того, ему стало даже интересно, что скажет безумный старик, узнав, что такое табак.

— Табак, уважаемый батано Бакар, однолетнее растение, — снисходительно улыбаясь, начал Онисифорэ объяснения. — Произрастает оно как в Грузии, так и в других странах с теплым, солнечным и сухим климатом. Разведение его требует большого труда. Растение имеет крупные широкие листья. Осенью эти листья собирают, сушат и нарезают на мелкие кусочки. Затем измельченный табак заворачивают в тонкую бумагу, изготавливая так называемые сигареты. Сигарету человек кладет в рот, подносит огонь, закуривает, в результате чего образуется дым. Дым этот человек глубоко вдыхает. Таким образом, дым проходит через легкие и выходит обратно через ноздри и рот. Этот процесс называется курением.

Очень довольный своей импровизированной лекцией, Онисифорэ наконец умолк и внимательно взглянул на Бакара.

Бакар как-то странно уставился на Онисифорэ. Он или не понял ничего, или не поверил тому, что услышал. Постепенно он стал наливаясь краской, как помидор, у него покраснели и лоб, и нос, и щеки, и подбородок, и даже уши. Он довольно долго не произносил ни слова. Потом перевел взгляд на надпись:

— А почему здесь написано — «запрещается»?

— Потому что табачный дым очень вреден для человека, а порой даже смертелен.

— Аа... — Бакар покачал головой и опять надолго замолчал. Потом, пожав плечами, вновь обратился к Онисифорэ:

— Теперь я все понял, но... Не знаю, не мне вас

учить уму-разуму. И в мое время были разбойники, попадались и такие злодеи, что человека могли убить. Однако их или сажали на кол, или же вовсе отрубали голову. Понимаешь, все заканчивалось в одно мгновение. А теперь вы ввели в употребление этот табак. Пока этот дым отравит человека, пока все это произойдет... Разбойника, конечно же, следует покарать, иначе нельзя, но... кем бы он ни был, он все же человек... Не знаю, сынок, не знаю... стоит ли так долго мучить... Не мне вас учить, и не подумай, что вот, мол, старик какой кровожадный, но... ты понял меня, сынок?

— Понял, батона Бакар, понял! Но что я могу? Я человек маленький.

— Да, да... понимаю...

Бакар умолк, несколько опечаленный. Он удобнее устроился на сиденье, скрестив руки на груди, и до самого Тбилиси не произнес больше ни слова.

Они вышли из автобуса в Ортачала, у автостанции. Отсюда до Анчисхати было не слишком далеко, но, однако, отнюдь не просто среди стольких домов найти квартиру какого-то Андзавели, не зная даже его имени. Вымотавшийся и изнервничавшийся за день Онисифорэ почувствовал страшную усталость и голод. Хлеб, что у него был с собой, он отдал помешанному старику. Да и дома давно его ждали. Леокадия, наверное, уже суетится, как обычно. Так всегда: если Онисифорэ дома, Леокадия ест его поедом: защитишь ты наконец свою докторскую диссертацию, гляди вон Кемоклишвили днюет и ночует в публичке; если же, не дай бог, он запаздывает, Леокадия тут же ударяется в панику — где он, почему опоздывает, не случилось ли с ним чего, вдруг его убили или не убил ли он сам кого-нибудь... «Обо мне беспокоится Леокадия, — часто тоскливо думал Онисифорэ, — или ей важнее моя будущая докторская степень и должность заведующего кафедрой, которой я, может быть, добьюсь».

! Онисифорэ так захотелось сейчас оказаться поскорее в своей теплой уютной квартире, принять горячую ванну, вкусно поужинать, но... Целый вечер ухлопал на этого старика, а теперь еще надо разыскать его родственника. Фамилию Андзавели он слышал впервые, но Тбилиси — огромный город, здесь живут министры, профессора и прочие важные шишки. Вдруг кто-нибудь

из них приходится этому старику если не сыном, то племянником, хотя бы и внучатым? Как бы потом чего не вышло... А тут еще этот змееныш Кемоклишвили...

Онисифорэ привел Бакара в зал ожидания автостанции, усадил на стул и попросил разрешения отлучиться ненадолго.

— Хорошо, но... — встревожился Бакар, — ты ведь не очень далеко уходишь?

— Тотчас ворочусь.

— Хорошо, сынок, только, будь добр, приходи поскорее.

«Чуть ли не приказывает, точно я обязан с ним возиться», — с неприязнью подумал Онисифорэ, выходя из зала ожидания, и направился к стоявшему под огромным деревом милиционеру.

— Здравствуйте! Я доцент Онисифорэ Гивисванидзе.

— Слушаю вас! — милиционер неторопливо выпрямился, и, помедлив, приложил руку к козырьку.

— Кажется, я повстречался с сумасшедшим.

— Где? — милиционер спросил это так равнодушно, как будто подобные заявления были для него делом обычным.

— Около Марнеули.

— Дальше?

— Не знаю, что с ним делать.

— Действительно сумасшедший?

— Без сомнения.

— Где он сейчас?

— В зале ожидания.

— Ну, значит, тихий помешанный.

— Куда мне его пристроить?

— Я не могу покинуть пост. Раз ты довез его сюда из Марнеули, так уж поезжай с ним в Сабуртало, сдай его в психушку, и дело с концом.

— У него вроде брат живет близ Анчисхати.

— Совсем хорошо. Отсюда до Анчисхати рукой подать.

— Как среди такого множества домов найти квартиру Андзавели?

— В каждом подъезде вывешен список жильцов. Или же обратись в адресное бюро.

— Бюро сейчас закрыто.

Милиционер безнадежно развел руками — больше; мол, я ничем не могу помочь.

Онисифорэ тяжело вздохнул, вернулся назад, вывел из зала ожидания Бакара, сильно встревоженного его отсутствием, и пошел вместе с ним по улице, ведущей к Анчисхати.

Пройдя сотню шагов, они увидели вывеску «Кондитерская», сверкающую огромными зелеными буквами. Бакар вопросительно уставился на Онисифорэ.

— Это именно то, — сказал ему Онисифорэ, — что нам сейчас больше всего требуется.

И вошел в кондитерскую вместе со стариком.

Стоявшая за прилавком женщина в белом халате с засученными рукавами, словно только и ждала появления Онисифорэ и Бакара, схватила сверкающую алюминиевую ложку и с силой постучала ею:

— Граждане!

Все — и сидевшие за столиками, и стоявшие — смолкли и повернули головы в ее сторону.

— Повторяю еще раз, пирожные, какао и кофе кончились, — объявила женщина, — чай — пожалуйста! Только соблюдайте порядок. Я тоже человек.

Посетители, стоявшие в очереди, направились к выходу, ворча и нервно размахивая руками. Бакар взглянул на Онисифорэ. Онисифорэ взял старика за локоть и вывел на улицу.

— Что она сказала, сынок, эта женщина?

— Еда, говорит, кончилась. — Онисифорэ было уже немного жаль этого беспомощного, тщедушного старика, совершенно растерявшегося в огромном городе. — Подсчитано, сколько человек в среднем заходит за день в кондитерскую, и в соответствии с этим получают продукты. Сегодня же из-за дождя посетителей оказалось намного больше обычного, вот продукты и кончились. Понял, дядя Бакар?

— Конечно, сынок, — закивал головой Бакар. — В дождливую погоду заходить сюда не следует, надо направиться в другую закусочную. Не так ли?

— Совершенно верно. — Онисифорэ весело рассмеялся и похлопал старика по плечу.

Бакар обернулся, еще раз, шевеля губами, прочитал вывеску «Кондитерская», сиявшую огромными буквами, и запомнил на будущее: Кондитерская — это за-

кусочная, куда следует заходить только в хорошую погоду.

— Еще немного, и все здешние порядки я буду знать, как «Отче наш», — радостно сказал Бакар шедшему рядом Онисифорэ. Приобретенные знания, как известно, придают человеку бодрость, веру в свои силы.

— Конечно, дядя Бакар, — подтвердил Онисифорэ, — еще немного и вы совсем освоитесь в нашем городе. Ну, а теперь — сюда!

Они пересекли улицу и направились к освещенному ларьку в глубине сада.

Откровенно говоря, лучше всего было сейчас зайти в какой-нибудь ресторан, заказать разные вкусные блюда, бутылку вина и не спеша поужинать. Из ресторана Онисифорэ мог бы позвонить домой, успокоить жену, ничего, мол, со мной не случилось, скоро буду дома. Однако в кармане отправившегося ранним утром на охоту Онисифорэ было всего десять рублей — однодневный его заработок, а с этими деньгами сунуться в тбилисский ресторан — все равно, что выгнанному за неуспеваемость второкласснику или вовсе неграмотному подать в Институт прикладной математики или физики высоких энергий Академии наук Грузии заявление о приеме в аспирантуру и сдаче кандидатского минимума. Потому-то и направился Онисифорэ к ларьку.

Это была закусовая. Стоявшие в саду под открытым небом столики нещадно заливало дождем. Несколько человек в кожаных пальто и больших шапках перетаскивали один столик в глубь сада под огромное дерево и, рассевшись вокруг, тянули пиво прямо из бутылок.

В ларьке продавец, опустив голову, считал деньги. Онисифорэ постучал в стекло витрины. Продавец поднял голову и взглянул на новых клиентов.

— Посади куда-нибудь нас двоих, — попросил Онисифорэ.

Продавец равнодушно пожал плечами.

— Ну где вы сядете в такой дождь?

— Придумай что-нибудь, будь человеком!

— Что я могу придумать?!

— Попробуем сесть возле той кирпичной стены, в углу.

Продавец встал. В правой руке он держал пачку

десятирублевков, поэтому окошко витрины он поднял левой рукой и посмотрел в ту сторону.

— Как же вы там сядете?

— А что нам может помешать?

— Ладно. — Продавец пожал плечами и опустил стекло.

Онисифорэ и Бакар перенесли мокрый столик и два стула к кирпичной стене. Кое-как вытерев стулья, они наконец уселись. Дождь здесь не так беспокоил. Однако шло время, а их не собирались обслужить. Онисифорэ встал, подошел к ларьку и вновь робко постучал.

— Мы уже давно сидим.

Продавец все еще считал деньги.

— У нас самообслуживание.

— Так бы и сказал!

— Я и говорю!

— Что есть?

— Пиво.

— А поесть?

— Поесть... не знаю... — продавец оглядел пустые полки, — вот хлеб... джонджоли...

— Господи, я и мой гость всего лишь хотим подкрепиться, чтобы не упасть в обморок на улице от голода!

— Ну что тебе сказать, дядя... Этот ларек вообще не хотели открывать, думали, не будет торговли. Еле уговорил, и что же мне дают в день? Почти ничего. Хотя, может, с будущего месяца снабжение улучшится. Во всяком случае обещают!

— А до будущего месяца что нам есть?

— Так ведь всего три дня осталось.

— Три дня голодать прикажешь?

— Что имею, то и предлагаю, не отказываю же.

— Послушай, мой гость сказал, что держит путь из Антиохии. Так что же, человека, прибывшего из Антиохии, угощать хлебом и джонджоли?!

— Ты человек городской, не мне тебя учить умразуму. Там, в конце улицы, на углу, спустишься по лестнице и найдешь маленький ресторан. В буфете будет или Кока авлабарской или Чакуча харпукский. Скажешь, что тебя прислал Тхаигола сололакский.¹ Больше

¹ Авлабар, Харпухи, Сололаки — районы старого Тбилиси.

ничего не надо. Таким ужином тебя накормят — останешься доволен. Все будет вкусно, в лучшем виде.

— Правда?

— Железно.

— Скажи-ка, а дичи у них нет, перепела или фазана?

— Сейчас не сезон перепела. Летом — пожалуйста! Чакуча харпукский — это тебе не кто-нибудь, а приемный сын Дарчо Погорельца!

— Вон оно что!

— А ты думал? Если не понравится, приходи, — я до одиннадцати часов буду здесь, — приходи и плюнь мне прямо в глаза.

— Хорошо. Если не приду, значит, ужин был хорош и я остался доволен. Однако... Торговать тебе нечем, какой смысл сидеть здесь до одиннадцати?

— Что делать! Снабжать не снабжают, а дисциплину требуют.

— Понятно. Ну, до свиданья!

— Счастливо! Иди от моего имени, больше ничего не надо.

— Непременно.

«Околеете, пока дождетесь меня в вашем ресторане ты и твои духанщики», — подумал Онисифорэ, помог Бакару встать, и они продолжили путь по улице, ведущей к Анчисхати.

Раздражение вновь овладело им. Он, Онисифорэ Гивисванидзе, ученый, педагог, известный и уважаемый во всем городе человек, вполне мог бы сейчас, приняв ванну, отужинав и отдохнув, сидеть в любимом кресле и читать книгу, не ведая тревог... Не угодно ли, чуть не падая от голода и усталости, искать среди столько домов какого-то Андзавели, даже имени его толком не зная? Чем столько мучиться, не лучше ли забросить свою докторскую и уступить кафедру Кемоклишвили. Да, но Леокадия? А самолюбие? Нет уж, раз Онисифорэ столько вынес, то доведет дело до конца и отыщет этого Андзавели, а там пусть он сам возится со своими чокнутым родственником.

Онисифорэ не знал, что до того, как пайти «какого-то Андзавели», ему придется пережить еще одно злоключенье.

Это случилось с ними на Сионской улице. Едва они

свернули с улицы Горгасали и поравнялись с собором, как из темного переулка навстречу им, пошатываясь, вывалился какой-то пьяный детина огромного роста, широкоплечий и кряжистый. От него всюду разлилось винным духом, растрепанные влажные волосы беспорядочно спадали на лоб, и взгляд был как у безумного. Увидев наших путников, он остановился, широко расставив ноги и раскинув руки:

— Стой!..

Доцент и старик остановились. При виде еле державшегося на ногах пьяного у Бакара в глазах вспыхнули искорки едва сдерживаемого смеха.

— Самсон Буиглишвили, — пьяный протянул Бакару ладонь величиной с лопату. Бакар пожал ему руку, снова улыбнувшись про себя. Пьяный исподлобья взглянул на Онисифорэ, но почему-то не пожелал подать ему руку, вместо этого он вперил в доцента тяжелый взгляд, поднял кверху длинный и толстый, как свеча, указательный палец и, покачнувшись, повторил:

— Сам-сон Буи-глишвили!

Наши путники стояли растерянные, не зная, как быть. Онисифорэ, переступив с ноги на ногу, поправил проклятое ружье.

— Что это у тебя висит на плече? — пьяный, привычавшись, исподлобья подозрительно взглянул на доцента.

Онисифорэ едва заметно пожал плечами:

— Охотничье ружье.

— Ну?

— Не понял.

— А добыча?

Доцент еще раз пожал плечами.

— Гм! — Буиглишвили пошатнулся и снова уставился исподлобья на Онисифорэ. — Продал? Спекулянт!

Онисифорэ ничего не ответил.

Буиглишвили шагнул к нему.

— Ты что же? В живописных лесах Грузии убиваешь прекрасных, грациозных зверей и... продаешь их? Спекулянт!

— Я сегодня неудачно охотился.

Буиглишвили уставился на Онисифорэ. Вдруг он вскинул руку и приказал: — Вперед!

Затем, подойдя к Онисифорэ, схватил его за ворот обеими руками и попытался тряхнуть, однако хмель совсем лишил его сил.

— Ты! Я тебя!..

Онисифорэ правой рукой легко высвободился из державших его рук и строго погрозил пьяному пальцем:

— Товарищ, мы вас не трогаем, идите своей дорогой.

— Что-о? — Буиглишвили покачнулся, чуть не упав, и почему-то повернулся к Бакару:

— Так!.. Гм!.. Хорошо! — Он провел рукой по волосам и начал засучивать рукава: — Ну так я!..

Оттолкнув Бакара, набычившись, двинулся он на Онисифорэ и замахнулся на него со всей силой. Доцент отскочил в сторону. Буиглишвили не смог удержать равновесие, зашатался и, споткнувшись, упал лицом вниз и остался лежать у кирпичной стены.

Бакар, схватившись за живот, буквально задыхался от смеха.

Мысль Онисифорэ работала с быстротой молнии: «Бежать не годится, — сообразил он, — еще неизвестно, сумасшедший этот старик или в полном порядке. Выдаст он меня, тогда хлопот не оберешься. Ох, и кто это выдумал охоту!».

Он быстренько снял с плеча ружье, прислонил его к стене и бросился к лежащему Буиглишвили:

— Товарищ!.. Товарищ!..

Буиглишвили не двигался.

— Товарищ! Я к вам не прикасался! Вставайте, товарищ! Товарищ Самсон!

Наконец Бакар тоже забеспокоился. Он подошел к Буиглишвили, кряхтя, нагнулся и стал трясти его за плечо.

Бакар с трудом выпрямился и перевел испуганный взгляд на Онисифорэ.

На доценте не было лица. Бакар подошел к нему, встал рядом, и они оба продолжали растерянно глядеть на неподвижно лежащего пьяного.

Буиглишвили еще некоторое время лежал не двигаясь на залитом дождем тротуаре. Потом очнулся, привстал, с трудом поднял голову и наконец сел. Ог-

ляделся вокруг себя безумными глазами и уставился на наших друзей.

— Бить меня посмели? — хрипло выдавил он из себя.

— Товарищ, поверьте, никто вас не трогал.

— Эх!.. — Буиглишвили, кряхтя, с трудом приподнялся. Бакар и Онисифорэ бросились к нему на помощь и с большим трудом поставили верзилу на ноги.

То ли от падения, то ли от злости и унижения, но Буиглишвили трезвел на глазах. Грозно скрипнув зубами, он схватил Онисифорэ за руку. Сил у него явно прибавилось.

— Товарищ Самсон, даю вам честное слово ученого и гражданина...

— Гм!.. — Буиглишвили с силой сжал руку Онисифорэ, едва не раздробив ему кисть. — Так, значит, вы избили меня и швырнули наземь, да?! Меня, Самсона Буиглишвили, наземь бросили, да?! Лопатки Самсона Буиглишвили коснулись земли?! Оохх!..

— Товарищ!.. Уважаемый Самсон, клянусь вам, никто вас пальцем не тронул!

— Вот, значит, как...

— Правда, сынок, правда, — Бакар кашлянул и шагнул вперед. — Сынок, ты носишь доброе имя, в древности Самсоном звался славный муж, и если ты хоть самую малость уважаешь мои седины, выслушай меня. Ты ведь не знаешь этого уважаемого человека. Вот как было дело: мы шли по улице и мирно беседовали, не думая ссориться с кем-нибудь. Мой спутник спешит домой, к своей семье, я же... Так вот, шли мы, никого не обижая. В это время из переулка показался ты, немного...

— Кончай болтать!.. — прохрипел Буиглишвили, качнувшись. Видимо, хмель снова навалился на него. Он вновь стиснул, как стальными клещами, руку Онисифорэ. — Хватит!

— Сию минуту, сынок, я буду краток. Ты немного пьян. Что поделаешь, с кем не случается... Так вот, сынок, ты накинулся на нас неизвестно за что. Мы не стали раздражать тебя, пьяного, и хотели пройти мимо, однако ты не отстал от нас, споткнулся о камень и... верь моим сединам, сынок, я рассказал тебе все как было, ничего не утаивая и не присочиняя.

— Погоди ты! Значит, я сам упал?!

— Ты сам, сынок, ты сам. О камень споткнулся.

— Дальше?

— Сейчас...

— Опять заладил! Ты... это... да знаешь ли ты, какая у меня семья?

— Отчего же тебе, сынок, не иметь жену и детей, молодец ты хоть куда.

— Да, и семья у меня, что надо!

— Послушай, сынок...

— Нет! Теперь вы... оба... пойдете со мной.

— Това...

— Молчать! Говорю тебе, старик: вы оба пойдете со мной. Напою тебя и спать уложу, а этого вышвырну в окно или с крыльца спущу. Мне все равно!

— Сынок...

— Цыц, говорю тебе! Идете или нет?

— Това...

— Цыц! Цыц вы оба! Теперь я все знаю, — Буиглишвили опустил голову, все еще не выпуская руки Онисифорэ, и оглядел свою испачканную одежду. Потом поднял на Онисифорэ налитые кровью глаза. — Это... что?

— Товарищ...

Онисифорэ не успел договорить. Буиглишвили отпустил его руку и наотмашь ударил по лицу. Бедный доцент, оглушенный, стукнулся спиной в стену.

— Убыю! — Буиглишвили набросился на Онисифорэ как разъяренный бык. Доцент успел схватиться за ружье. Это окончательно взбесило Буиглишвили. Он вырвал у противника из рук ружье и замахнулся, метя прикладом в голову, но промахнулся, и удар пришелся в шею. Онисифорэ согнулся, и начал медленно оседать на землю. Видя это, Бакар кинулся сзади и схватил Буиглишвили, пытаясь удержать его, но тот легко сбросил с себя старика, да так, что он, как мячик, отлетел на другую сторону улицы. В это время из переулка показалось несколько человек. Они негромко напевали и, видно, тоже были под хмельком. При виде драки двое из них бросились к дерущимся и успели оттеснить Буиглишвили, который готовился нанести Онисифорэ сильнейший удар ногой. Тут подоспели и остальные. Видимо, они были знакомые Буиглишвили,

потому что переглянувшись и пошептавшись, окружили Бунглишвили и почти насильно увели его с собой. Двое же остались и, как могли, оказали помощь пострадавшим в драке.

— Я этого так не оставлю! — воскликнул вдруг Онисифорэ хриплым голосом и погрозил кулаком. — Я знаю его имя и фамилию. Арестуют голубчика, как миленького! Не отвертится!

— Эх! — с сожалением возразил один из доброжелателей. — Ты вроде умный человек, а говоришь что-то не то. Во-первых, он наверняка наврал про свое имя и фамилию. Но допустим даже он правильно назвал себя, что дальше? Его могут простить как пьяного—это раз; он может сказать, что вы его первые ударили — это два; свидетелей у вас нет — это три; даже если его арестуют, могут отпустить на поруки. Знаешь же, как это делается: побегает он, раздобудет хорошую характеристику с места работы — и все! Это сколько? — четыре. И потом, если даже его будут судить, то дадут от силы год-два, не больше. Затаит он на вас злобу; выйдет на свободу, отыщет и... Одному моему соседу припаяли десять лет, а он через полгода освободился. До ареста был сволочь, а теперь и подавно. Это — пять. Ну, что еще сказать? Ничего особенного с тобой не стряслось. На ногах стоишь твердо, даже синяков на тебе не видно. Так что забудь ты эту маленькую неприятность и иди-ка домой. Поверь, я тебе дело говорю. Ну, будь здоров! Да! Главное забыл: свидетели? свидетели у тебя есть? Нету. А надо, чтобы было два свидетеля, которые подтвердили бы его вину, а иначе, хоть бы тебя и до смерти избили, в суде ты ничего не добьешься.

— Помилуй, ты же все видел своими глазами...

— Кто? Я? Да ты что! Ничего я не видел и не слышал. Прощай, будь здоров!

Он кивнул головой и ушел и вскоре скрылся из виду, даже ни разу не обернувшись.

Онисифорэ онемел от изумления. Оскорбление, боль от ударов он бы еще кое-как вынес, но то, что ему пришлось увидеть, оставшись наедине с Бакаром, едва окончательно не лишило рассудка доцента.

Вот что увидел Онисифорэ Гивисванидзе.

Бакар Андзавели, создатель грузинского алфави-

та, сумасшедший, черт, дьявол или кто еще, который только что получил здоровенный пинок, старец с бледным, как воск, и сморщенным, как измятый пергамент, лицом, такой слабосильный, что его легко одолел бы пятилетний ребенок, — так вот, этот старик, скорчившись и держась руками за живот, покатывался со смеху. От хохота у него вздрагивали плечи, дрожали руки и ноги, а его бледное, морщинистое лицо светилось безграничным весельем.

Онисифорэ не знал, что и подумать. Потом он провел по лицу обеими руками, присел и взглянул снизу на Бакара:

— Товарищ.. — Онисифорэ провел языком по пересохшим губам и огляделся вокруг, словно стыдясь непристойного поведения Бакара. — Товарищ, что вас так рассмешило?!

Бакар развел руками, продолжая смеяться, и ничего не ответил.

— Великий Боже! — Онисифорэ едва не перекрестился. — На тебя уповаю, спаси мою душу и тело. Яви силу, господи, прекрати мои муки. Две только просьбы у меня: не дай сойти с ума и умереть. Больше мне ничего не надо. Спаси меня, Боже! Будь мне избавителем, и до конца дней моих не устану возносить тебе благодарные молитвы.

Ошеломленный доцент сообразил все же отряхнуть на себе одежду, продолжая наблюдать за самозабвенно хохочущим стариком. Потом он взял ружье, вскинул его на плечо, твердо решив, что с него хватит; довольно возиться с этим стариком, а то неровен час опять попадешь с ним в беду, лучше идти сейчас же домой. Но...

Бакар заметил, что Онисифорэ рассержен, и попытался сдержать смех, но не смог. Он подошел к Онисифорэ, продолжая от души смеяться, и схватил его за руку.

— Товарищ! — Онисифорэ оттолкнул руку старика. — Скажите, наконец, что вас так рассмешило?!

— Не буду, сынок, больше не буду... хи-хи-хи! Ну, пожалуйста, сынок не обижайся.. Хи-хи-хи!.. Вспомнил свою молодость... Ой, ей-богу, сейчас лопну... Ой, что это со мной...

— Товарищ, что тут смешного?!

— Нет, нет, ничего... хи-хи-хи! Нет, так без всякой причины, ни за что ни про что... ой, господи! Да нет, славный был парень, молодчина, но... почему, за что... хи-хи-хи!.. а?.. Вот это да...

— Немедленно прекрати смеяться! — загремел Онисифорэ и вскинул ружье. — Не смейся, говорят тебе!

Онисифорэ щелкнул затвором и навел ружье на старика, целясь ему прямо в лоб. Бакар замер, испуганно глядя на доцента.

— Не смейся! — Онисифорэ принял угрожающую позу.

— Да, да, да... хорошо, сынок, хорошо... он ведь и меня стукнул... и меня здорово ударил, сынок, и меня... вот ведь куда я отлетел... Хорошо, сынок, хорошо... не буду, не буду...

Онисифорэ перекинул ружье через плечо и отвернулся.

* * *

Отчаявшийся Онисифорэ, потный от изнеможения, обреченно брел по темным улицам. Охотничье ружье, казавшееся ему утром легким как спичка, сейчас висело у него на плече тяжеленным грузом. В душе он проклинал и охоту, и того, кто ее выдумал, и Евтихия Кемоклишвили, и грузинский алфавит, и этого старика, отравившего ему весь день.

Пройдя шагов тридцать, он почувствовал, нет, даже не почувствовал, а явно услышал, что Бакар Андзавели идет следом за ним. Онисифорэ тяжело вздохнул и остановился. Старик приблизился и робко коснулся рукой его руки.

— Очень сердишься? — спросил Бакар и посмотрел ему в глаза.

— Нет! Я в восторге.

— Эх!

— Вообще-то, — Онисифорэ поправил ружье, — и ты должен чувствовать себя оскорбленным и униженным.

— Нет, сынок! К пьяным и в мое время относились снисходительно, и сейчас, вижу, так же относятся, и всегда так будет. Я огорчен, что из-за меня ты нарвался на неприятность. Ладно, сынок, иди домой, к своей

семье, там тебя уже давно ждут, наверняка волнуются. Только...

— Только — что?

— Ничего, только... — Бакар выглядел сильно опечаленным, — знаешь, вы, живые, немного странные. Что же, раз человек умер, покинул сей мир, ему нельзя хоть раз оглянуться назад? Вот пришел я, человек в здравом уме, хожу с тобой, разговариваю, мы почти целый день уже вместе, а ты все считаешь меня сумасшедшим. Я же вижу. Ходишь и думаешь, чего этот помещанный старик привязался ко мне. Но... Хорошо, сынок, иди своей дорогой. Только...

— Что, батона Бакар?

В душе у Онисифорэ вновь шевельнулось что-то похожее на жалость к старику.

— Я не узнаю здешние места. Это действительно Анчисхати?

— Действительно.

— Ладно. Тогда, быть может, я найду здесь кого-нибудь из своих потомков. Давеча я говорил тебе, что мой брат пользовался доброй славой, а раз так, то в мире, наверное, остались его внучки и правнуки. Кто знает... Ты только прости мой неуместный смех...

— Прощаю, батона Бакар, прощаю. Лучше подумаем, что нам дальше делать. Мои, наверно, действительно, очень волнуются, что меня так долго нет.

— Иди, сынок!

— Нет, давай заглянем вон в тот подъезд. Если отыщем на дощечке твою фамилию, считай, что нам обоим повезло. А вообще-то не скрою, я в самом деле должен спешить.

— Какой подъезд?

— Тот, что освещен.

Это был единственный освещенный подъезд на всей довольно длинной, погруженной во мрак улице. Онисифорэ еще раз окинул взглядом четырехэтажный дом, построенный из старинного кирпича, вошел в освещенный подъезд.

Читатель, веришь ли ты в чудеса? Наверное, нет. И я не верю. Тем не менее, едва Онисифорэ очутился в подъезде, как буквально обомлел от неожиданности. Господи, взмолился в душе доцент, старику уже ниче-

го не сделается, он и без того ненормальный, не дай и мне лишиться рассудка.

На правой стене подъезда, там, где начиналась лестница, висела черная доска, на которой красивыми белыми буквами были указаны фамилии жильцов. Онисифорэ пробежал глазами список и увидел такое, что едва не уверовал в бога.

С левой стороны доски, посередине, четкими буквами было выведено:

№ 14. М. Э. Андзавели.

В квартире № 14 жил некто М. Э. Андзавели. Онисифорэ перевел дух, отер пот со лба и вышел на улицу. Бакар стоял на том же месте.

— Батоно Бакар...

— Да?

— Кажется, нашим страданиям пришел конец.

— Что ты говоришь?

Он завел старика в подъезд и указал ему на надпись.

— Значит... — Бакар выглядел растерянным.

Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице на третий этаж.

Длинный заставленный всяким хламом коридор освещала единственная покрытая паутиной лампочка, защищенная проволочной сеткой. Откуда-то доносился шум воды, льющейся из оставленного открытым крана. Нашим путникам пришлось пробираться по узкому проходу между опрокинутыми колченогими столами, сломанными стульями, давно отжившими свой век умывальниками. Все это старье ни на что уже не годилось, но хозяева упорно не желали его выбросить.

Онисифорэ внимательно осмотрел ветхую, много раз чиненную дверь, на которой мелом была выведена цифра 14, перевел взгляд на Бакара, поправил ружье и энергично постучал.

В ответ ни звука.

Онисифорэ постучал еще раз.

И опять никто не ответил. Через некоторое время послышался скрип кушетки. Потом кто-то чиркнул спичкой, а коробок — это было отчетливо слышно — бросил на пол. Онисифорэ только собрался постучать еще раз, как мужской голос из-за двери спросил:

— Кто там?

— Свои.

— Кто свои?!

— Откройте! Говорю же, свои.

В двери повернулся ключ, она открылась, и показался мужчина лет тридцати, с преждевременной седью на висках, в выцветшем голубом халате.

— Вам кого?

— Вы будете Андзавели? — спросил в свою очередь Онисифорэ. |

— Да, это я.

— Впустите меня! — произнес Онисифорэ повелительным тоном, шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь, оставив Бакара в коридоре.

Комната была крохотная. В ней едва помещались кушетка, шкафчик, стол и единственный стул — все это довольно старое и невзрачное.

— Другого стула у вас нет?! — Онисифорэ не мог скрыть удивления.

— Был.

— И что же?

— Места для него не нашлось, и я подарил его соседу. — Хозяин улыбнулся так весело и заразительно, что усталый, голодный, побитый Онисифорэ не удержался и тоже улыбнулся.

— Вы садитесь, пожалуйста, на стул, — предложил хозяин, — а я присяду на кушетку.

— Нет, — возразил Онисифорэ, — сидеть мне некогда. Теперь слушайте: старик, что дожидается в коридоре, ваш однофамилец. Во всяком случае, он так утверждает. Я встретил его в четыре часа пополудни и с тех пор разыскиваю вас. Долго рассказывать, что мне пришлось вынести за это время, но это, я говорю не в упрек вам. Все мы люди и должны помогать друг другу в трудную минуту. Так я и сделал, поделился с ним последним куском хлеба и вот привел его к вам. Будь я верующий, сказал бы, что отыскал вас с божьей помощью. Я не психиатр и никогда им был, так что не берусь сказать, нормальный этот старик или помешанный. Не скрою: порою он производит впечатление вполне нормального, а иногда кажется сумасшедшим. Однако, кем бы он ни был, этот старик, я свой гражданский долг по отношению к нему исполнил. А теперь

вы сами разбирайтесь со своим однофамильцем. Вам что-нибудь неясно?

— Я... простите, но я ничего не понял, — пожал плечами молодой человек и в изумлении развел руками.

— Ничего. Остальное вам объяснит ваш однофамилец. А сейчас, пожалуйста, ни о чем не спрашивайте, позвольте мне уйти и хотя бы на эту ночь приютите старика. Ну, прощайте, всего хорошего!

Онисифорэ, не обращая внимания на опешившего хозяина, вышел, прикрыв за собой дверь, и обратился к Бакару:

— Нашел я твоего родственника. Он просил передать, что с радостью окажет тебе гостеприимство. А я прощаюсь с тобой, мне давно пора быть дома.

Он снова открыл дверь, легонько (не дай бог еще упадет) толкнул старика в комнату, а сам повернулся и быстренько сбежал по лестнице.

Нырнув в подвернувшееся такси, доцент с облегчением вздохнул и откинулся на сидение. Однако Онисифорэ Гивисванидзе даже не подозревал, что он еще не раз наведается на Анчисхатскую улицу.

Встревоженная Леокадия встретила опоздавшего Онисифорэ на лестничной площадке.

— Ты где пропадаешь до сих пор?

— Да вот, нарвался на какого-то сумасшедшего.

— Сумасшедшего?! Он что, напал на тебя?

— Нет, нет, со мной все в порядке.

— Почему же ты решил, что он сумасшедший?

— О-ох! Нормальным его определенно не назовешь, а значит, черт побери, он был сумасшедшим.

Глава вторая

Бакар Андзавели и хозяин остались в комнате одни. Внимательно оглядев нежданного гостя, молодой человек протянул ему руку:

— Здравствуй, дядя! Меня зовут Мераб.

— А я — Бакар.

— Садись.

— Спасибо.

Бакар уселся на стул, а хозяин — на скрипучую кушетку.

— Ты и вправду Андзавели?

— Да.

— А я-то считал себя единственным Андзавели во всей Грузии. Откуда ты будешь, из каких Андзавели?

— Грузин я. С Черной горы.

— Не слышал про такую гору. — Молодой человек от души рассмеялся; чувствовалось, что у него веселый, дружелюбный характер. — Вот зеленых гор в Грузии много. Кем тебе приходится этот человек?

— Я его сегодня впервые встретил.

— Почему ты так одет?

— Тогда все так одевались.

— Когда это тогда?

— Когда я жил в этом мире.

— Что?!

— Время властвует над нами. Вы сейчас так одеваетесь, мы в свое время — иначе.

— Да?

— И тебе неплохо бы одеться по-нашему. Конечно, не в такое старье, как на мне. Новейшая, сшитая по фигуре одежда очень бы тебе подошла.

— А эта что же, не подходит?

— Нет, почему же, и эта тоже... только...

— Ладно, хватит об этом. Что собираешься делать?

— Как сказать, сынок. Судьба алфавита меня тревожит. Об этом я уже рассказывал тому, кто привел меня сюда. Представь себе человека, который оставил дома малых детей, а сам надолго уехал, и день и ночь не дает ему покоя мысль об оставленных детях. Как они там? Вот так и меня иногда такая тоска возьмет, что нет мне ни сна, ни покоя.

— Как ты сказал, что тебя тревожит?

— Говорю тебе, алфавит. Ведь это я придумал грузинский алфавит.

— Э-э, дяденька!.. Это уже... Грузинский алфавит существует очень давно.

— Очень давно, конечно, очень давно. Я его и придумал.

— Тебя же тогда на свете не было.

— Говорю же тебе, я жил на Черной горе. В Антиохии. Жил там и там же придумал алфавит.

— Ты придумал?!

Мераб Андзавели был инженер и никогда не задумывался над тем, кто и когда создал грузинский алфавит. Понаслышке он знал, что грузинский алфавит создан в глубокой древности. Но что этот старик тут заливает?

— Я, сынок, я придумал. Ни одна душа мне не помогала. Знаешь же, монахи любят других поучать, чтобы не грешили, а сами... В часе ходьбы от нашего монастыря был женский монастырь. Нас разделял большой лес. И за какой-нибудь год к женскому монастырю была протоптана такая тропинка, что, и закрыв глаза, нельзя было сбиться с пути. Монах, отстояв вечернюю молитву, тайком перелезал через стену и...

— Оказывался у стен женского монастыря?

— Нет, почему же. Навстречу ему уже спешила монахиня, и на полпути они встречались в лесу. А потом каждый возвращался в свой монастырь. К заутрене оба, воздев руки, молились о ниспослании божьей милости грешному роду людскому. Такова была их набожность. Однажды в том лесу монаха из нашей обители змея укусила прямо в голый зад.

— Ночью?

— Нет, днем. Как встретился он со своей монахиней в ночь, так и не смог расстаться с ней до следующего дня. Ну и... Несчастный ползком добрался до монастыря и на третий день отдал богу душу.

— Дальше.

— Погребли. Игумен обо всем догадался, но не подал виду. Они, знаешь ли, тоже хороши были. Я же всю свою жизнь посвятил алфавиту.

— Как же это у тебя получается, дядя Бакар? И монахи, и монахини, и игумен — все были плохие, а один ты был хороший? А может быть, и ты порой прогуливался по этой тропинке? Скажи правду.

Бакар Андзавели густо покраснел, опустил голову, улыбнулся про себя и что-то невнятно пробормотал.

— Ну... Случалось... Но я вот алфавит придумал, а другие... Обманывали весь свет, а потом препоручали свою душу богу. А как господь мог их простить?

— Так, значит, алфавит ты придумал?

— Ей богу, я! Никто мне не помогал. Однажды только одна девушка мне помогла, вот и все.

- Какая девушка?
- Ну, эта... моя монахиня. Одна буква долго не давалась мне, и она подала мне верную мысль.
- Какая буква?
- Теперь уже не припомню.
- Ха-ха-ха!
- Веселый ты парень, видимо, сердце у тебя доброе.
- Обо мне после поговорим. Одною я, дядя Бакар, не возьму в толк: иногда ты говоришь так складно, что можно заслушаться, а порой... тебя вроде заносит... алфавит, то да се... как же это?
- Эх! Предупреждали же меня: дескать, все тебя примут за сумасшедшего. Вот и ты думаешь, что я ненормальный.
- Кто предупреждал?
- Они.
- Кто они?
- Если и это тебе сказать, то и впрямь сочтешь меня сумасшедшим.
- Не сочту. Даю честное слово.
- Ну.. они... Усопшие. Одним словом, обитатели потустороннего мира...
- Ха-ха-ха-ха!
- Вот видишь!
- Ну ты загнул, дядя Бакар!
- Поклясться на образе?
- Кто сейчас верит иконам?
- Тогда так поверь, зачем нам нужны клятвы! Окажи мне доверие.
- Это ты хорошо сказал. Значит, поверить?
- Поверь. Что ты теряешь? Походи со мной по городу, я не буду тебе в тягость, разносолов мне не нужно, спать я могу вон там, в углу, а потом уйду, откуда пришел, а ты оставайся в этом мире и будь счастлив. Что скажешь? Может, тебе не по душе моя просьба?
- Отчего же, я ряд тебе помочь, но что бы ты хотел увидеть?
- В этом я полагаюсь на тебя.
- Ладно. Скажи, ты голоден?
- Не очень... Тот человек покормил меня немного.
- Понятно. Давай-ка мы сейчас поужинаем, а об остальном подумаем после.

В голове Мераба Андзавели между тем зрел далеко идущий план.

Дело в том, что площадь комнаты Мераба составляла ровно шесть квадратных метров двенадцать сантиметров. Не было ни кухни, ни прочих совершенно необходимых нормальному человеку удобств. За водой или в уборную приходилось бегать во двор с четвертого этажа. Мераб несколько раз писал в исполком, что двадцать лет проживает в Тбилиси, является честным тружеником, приносящим своей стране посильную пользу, и просил выделить ему однокомнатную квартиру.

Ни одно его заявление исполком не оставил без внимания. В ответ на каждое к Мерабу Андзавели приходила комиссия и с глубочайшим вниманием изучала его жилищные условия. Люди в комиссии были каждый раз почему-то разные, но на результат это не влияло.

— Не говоря уже об остальном, — обращался Мераб к членам комиссии, — взгляните на эту стену. Нормальная стена должна быть перпендикулярной к полу, а эта наклонена под углом 45 градусов. Фактически это не стена, а обратная сторона лестничного пролета. Как вы можете убедиться, она обита простой фанерой. С раннего утра до поздней ночи по лестнице поднимается и спускается масса народу. Пыль в комнате такая, что задохнуться можно, а от бесконечного топота возникает ощущение, что меня бьют по голове. Особенно невыносимо, когда по лестнице гурьбой скатываются дети или женщины в туфлях на высоких каблуках-шпильках. Стук от этих каблуков такой, что хочется выбежать на улицу и завопить: помогите, люди, не дайте сойти с ума. И так каждый день. А я часто беру работу на дом, произвожу множество сложнейших расчетов.

— Ну что ты будешь делать с этими детьми! — глубокомысленно изрекал со вздохом председатель комиссии. — Дикое какое-то поколение подрастает, ни с кем не хотят считаться, никого ни во что не ставят. Просто не знаю, что нас ждет. Так... Что еще вам мешает?

— Обратите внимание на широкую трубу, проходящую в углу. Диаметр ее — ровно четырнадцать сантиметров. Как вы думаете, что это за труба?

— Как сказать... — председатель комиссии глубокомысленно хмурил лоб, — может... вы сами...

— Неудобно говорить, но это канализационная труба.

— Неужели?! — Председатель комиссии не мог сдержать изумления и возмущения. Тяжко вздыхали и остальные члены комиссии.

— М-да!.. Действительно. Хм!.. Еще? Что еще вас беспокоит? — председатель комиссии уже не скрывал своего явного сочувствия.

— Пожалуй, больше ничего. Стены, что и говорить, сырые, в комнате темно и приходится целый день пользоваться электрическим освещением, но... Я не буду привлекать вашего внимания к таким незначительным мелочам...

— Почему же, почему же! Сырость и плохое освещение — вовсе не мелочь, ни в коем случае! Так... Теперь я должен сообщить вам следующее, — председатель раскрывал потертую папку и внимательно изучал какие-то бумаги. — Вы уже обращались в исполком по поводу улучшения жилищных условий в прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом году. А также ранее. Ваши заявления были внимательно рассмотрены, и в результате установлено, что... М-м... да, установлено, что площадь вашей комнаты равна шести целым и двенадцати сотым квадратного метра. Думается, что с тех пор площадь эта не изменилась. Однако давайте все же измерим. Уважаемая Аделаида, прошу вас!

Уважаемая Аделаида раскрывала металлический складной метр, тщательно измеряла площадь комнаты, после чего и она и остальные члены комиссии убежились в том, что площадь комнаты ни на йоту не изменилась и ныне, как и прежде, составляет в точности шесть целых и двенадцать сотых квадратного метра.

— Так я и думал, — председатель комиссии широко разводил руками. На лице его не было и следа бывшего сочувствия. Теперь выражение лица председателя было решительным, неприступным и по-государственному важным. — Таким образом, уважаемый товарищ, площадь вашей комнаты на двенадцать квадратных сантиметров превышает общепринятую санитарную норму. Поэтому у нас нет никакого права взять вас на учет и дать новую квартиру. Разумеется, вы огорчены... И мы вам сочувствуем, но...

— Для чего же вы приходили? — упавшим голо-
сом спрашивал Мераб.

— Как? — изумление председателя не знало гра-
ниц. — Оставить без внимания заявление трудящего-
ся?! Вы когда-нибудь слышали, чтобы в нашей стране
заявление трудящегося было оставлено без внима-
ния?!.. У вас в самом деле.. тяжелые квартирные усло-
вия, но разве это дает мне или вам право не видеть
грандиозных сдвигов в деле роста благосостояния тру-
дящихся, происходящих в нашей стране? Нет, такого
права у нас нет. Поэтому у меня к вам личная просьба:
не обобщайте частные случаи.

— Так... а мне-то что делать?

Вместо ответа председатель завязывал тесемки на
своей папке и, неодобрительно покачивая головой, на-
правлялся к двери. За ним с выражением исполненно-
го долга на лицах следовали остальные члены ко-
миссии. Так продолжалось десять или двенадцать лет.

Все это с быстротой молнии промелькнуло в созна-
нии Мераба Андзавели, пока он беседовал с сидевшим
перед ним свихнувшимся, но вызывавшим невольную
симпатию стариком.

«Сумасшедший сумасшедшему рознь, — торопливо
прикидывал Мераб Андзавели; — иной ненормальный
великодушнее, отзывчивее и добрее многих нор-
мальных. Что если прописать у себя этого моего
однофамильца? Тогда на двоих нам будет полагаться
двенадцать метров, и мы получим квартиру, а там пос-
мотрим. Иногда, правда, у тихих помешанных бывают
приступы буйства, и в этот момент они очень опасны.
Но я буду всегда начеку, не спущу с него глаз, хотя...
вдруг он нападет на меня во сне и стукнет чем-нибудь
тяжелым по голове?»

Мераб колебался. Но тут на лестнице опять раз-
дался нескончаемый перестук каблуков. Только стих
этот невыносимый стук, как тут же напомнила о себе
канализационная труба.

Это было уже слишком.

«Пусть лучше этот старик раскроит мне, сонному,
голову топором, чем жить такой жизнью», — подумал
Мераб Андзавели и принялся хозяйничать. Он зажарил
яичницу, накормил старика, постелил ему в углу свой
тюфяк и уложил спать, а сам лег на одеяло, накрылся

другой его половиной, потушил свет, уставился в потолок и принялся обдумывать план действий, намеченных на завтра.

* * *

— Вам что нужно, товарищ?

— Из деревни ко мне приехал дядя. Кроме меня, у него нет родственников. Хочу прописать его у себя.

— Документы!

— Нет у него никаких документов.

— Как так?

— Выслушайте меня, прошу вас.

— Следующий...

— Старик без меня погибнет с голоду. Надеюсь, мы все гуманисты.

— Кто мы?!

— Гуманисты, человеколюбцы.

— Если ты такой человеколюбец, почему моришь старика голодом? Что, без прописки он куска не проглотит, подавится? Человеколюбец! Квартиру хочешь получить, вот что! Знаю я вас! Такие, как ты, здесь тысячами околачиваются. Следующий!

— Я бы хотел...

— Все! Поди зажарь своему бедному дяде добрый кусок филе, посыпь лучком да не забудь приправу. Слопает и без прописки, даю голову на отсечение. Так-то. Следующий!

Мераб ушел из милиции несолоно хлебавши.

На работе сослуживец посоветовал Мерабу поместить старика в психиатрическую больницу, где его, продержав некоторое время, выпишут и при этом выдадут какой-нибудь документ, а с помощью этого документа можно будет попытаться прописать его. Мераб нарядил Бакара в свой старый костюм и повез его в психиатрическую лечебницу. К счастью, в тот день в приемном покое больницы дежурил Демур Гошадзе, школьный товарищ Мераба.

— Что тебе понадобилось здесь?

— Родственника привез.

— А он на чем свихнулся?

— Уверяет, что он создатель грузинского алфавита.

— Таких здесь уже пятеро.

— И все сумасшедшие?

- Похоже.
- Ну, тогда этот будет шестым.
- Раз ты настаиваешь...
- Привести его?
- Валяй.

Врач легонько похлопал по плечу Бакара, попросил Мераба оставить их наедине и запер за ним дверь. Прошло не меньше часа, прежде чем дверь открылась вновь. Школьный товарищ пригласил Мераба войти, а Бакара попросил подождать в коридоре.

— Что скажешь, Демур?

Демур явно медлил с ответом. Он долго мыл руки, тщательно вытер их полотенцем и присел на кушетку рядом с Мерабом.

— И давно он так?

— Не очень...

— Хм!

— Тяжелый случай?

— Скажи, кем тебе приходится этот человек?

— Дядей.

— М-да... Если не ошибаюсь, у него бредовая форма шизофрении, а если ошибаюсь, то он нормальный, а сумасшедшие мы с тобой. Что же касается меня, тут удивляться нечего, каждый психиатр сам немного ненормальный. Оставь его у нас, я покажу его профессору. А там посмотрим. Заходи завтра.

Демур вызвал санитаров, и Бакара отвели в палату. А Мераба в шутку успокоил: старику, мол, не меньше восьмидесяти лет, и если он не выздоровеет, то это горе можно будет и пережить.

«Хорошо, когда в нужный момент подвернется школьный товарищ, — думал Мераб, возвращаясь домой. — Да здравствуют школьные друзья! Демур Гошадзе не откажется снабдить моего старика каким-нибудь документом, а тогда уже и тбилисской милиции от меня не отвертеться».

* * *

На другой день Демур Гошадзе почему-то встретил Мераба очень сдержанно. Он выглядел явно недоумевающим. От его шутливого тона не осталось и следа. Разок-другой он внимательно взглянул в глаза товарищу и тотчас отвел взгляд. Потом как-то нехотя сказал,

что профессору было некогда, и попросил Мераба прийти завтра в десять часов утра. Он проводил его до двери и на прощанье похлопал по плечу. А на третий день Мераба в психиатрической больнице встретили несколько странно. Не успел он войти в вестибюль, как рядом с ним словно из-под земли, выросли два дюжих молодца. Они не пустили его в приемную, а отвели в какой-то кабинет на втором этаже. Мераб оказался в огромной комнате, отделанной под дуб и сверкающей натертым паркетом. На стульях, расставленных вдоль стен, сидели не менее пятнадцати мужчин и женщин в белых халатах. Как только Мераб вошел, они устремили на него внимательные, изучающие взгляды. Демур Гошадзе забился в угол и избегал смотреть в сторону Мераба.

За большим письменным столом сидел тщедушный седой старик в белоснежном халате. Увидев Мераба, он живо встал, и, протягивая руки, пошел навстречу ему:

— Вот вы и пришли! Пожалуйте, дорогой. Зачем заставили нас ждать? Как поживаете, как самочувствие?

— Хорошо, — ответил ошеломленный Мераб.

— Молодчина! Так и должно быть, а как же! Человек создан для счастья. — Профессор скрестил руки на груди. — Какая погода сегодня?

— Нормальная, — Мераб огляделся. Все находившиеся в комнате молча, но внимательно наблюдали за ним.

— Нормальная. Правильно. Сегодня нормальная погода. — Профессор задумался. Потом впился взглядом в глаза Мераба и неожиданно спросил скороговоркой: — Сейчас же скажите мне, сколько у вас пальцев на правой руке? Быстро!

«Они приняли меня за сумасшедшего, — догадался Мераб. — Ну, погоди, Демур Гошадзе!».

— Шесть, — ответил он профессору.

— Шесть. Правильно. Теперь скажите: на этой руке... послушайте меня хорошенько: вот на этой, правой руке у вас всегда было шесть пальцев?

— Нет.

— Почему?

— Один я оторвал и съел. Это ведь не рука.

— А что же?

— Это кисть винограда.

— Правильно. Это не рука, а кисть винограда. И вы сорвали одну виноградину и съели. Что не сделаешь с голоду. А сейчас скажите, пожалуйста, будьте так любезны: на левой? На левой руке сколько у вас пальцев?

— Это я уже не помню.

— Не помните. Понятно. Всего никто не упомнит. Тогда, может, сосчитаем?

— Как вы сказали?

— Давайте сосчитаем, сколько у вас пальцев на левой руке. Ну-ка, ну-ка, смелее! То есть, я хотел сказать, сколько виноградин у вас на левой кисти?

— На левой кисти виноградин у меня вовсе нет.

— Правда? Интересно. Ну-ка, покажите.

Мераб задраил как можно выше левую ногу и показал ее профессору.

— М-да! Все ясно. — Профессор снял очки и вмиг стал серьезным, даже печальным. — Просто изумительно, коллеги! Но... Да... Значит, так: поскольку перед нами друг Демура, мы должны быть вдвойне внимательны и предупредительны. Демур — наш коллега.

— У меня... синдром... это... — Мераб хотел что-то объяснить, но те же два дюжих молодца скрутили ему руки, вывели из кабинета, промчали по коридору и втолкнули в какую-то комнату. Мераб не успел произвести ни звука, дверь тут же была заперта снаружи, и он остался один. Только сейчас он сообразил, что шутка с профессором зашла слишком далеко.

* * *

Спустя некоторое время в комнату вошла довольно молодая миловидная женщина в белом халате. В одной руке она держала большой и расчерченный на квадратiki лист бумаги, а в другой — простой стул, окрашенный белой краской. Едва заметнo кивнув Мерабу, она поставила стул посреди комнаты, села и развернула лист.

— Нам надо побеседовать, — обратилась она к Мерабу и достала из нагрудного кармана ручку. — Вы ведь не станете ничего от меня утаивать и на все вопросы ответите откровенно, не так ли?

— Безусловно, — ответил Мераб, — но сначала ответьте вы мне на один вопрос.

— С удовольствием.

— Скажите, как бы мне добраться до Демура Гошадзе, моего бывшего соседа по парте и друга, и задушить его?

— Разве Демур в чем-то провинился перед вами?

— Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Напротив. Благодаря ему я встретился с такой симпатичной женщиной, как вы. Но задушить его все-таки придется.

— О-о! Задушить — это уже слишком.

— Нет! Наоборот — слишком мало. Я этого мерзавца зажарю на медленном огне, а потом покончу с собой.

— О-о, батано Мераб... зачем же кончать с собой?

Мераб безнадежно махнул рукой и умолк. Не рассказывать же этой женщине об истории поступления Демура Гошадзе в медицинский институт.

Они только что окончили среднюю школу и готовились к поступлению в вуз. Мераб ни минуты не сомневался, что наверняка пройдет по конкурсу в политехнический институт: математика и физика давались ему легко, да и по грузинскому письменному он никогда не получал меньше четверки. А безмозглый Демур — и все знали, что это так — собирался поступить в медицинский институт, чем немало удивил товарищей.

Неизвестно, то ли ему повезло на вступительных экзаменах, то ли репетиторы накачали Демура необходимым минимумом знаний, но так или иначе он был зачислен в институт. Как он учился, Мераб не знал. Наверно, так же лебезил и унижался перед лекторами, как прежде перед всеми. И вот дополз, докарабкался до должности доцента.

— Батано Мераб! — голос врача отвлек Мераба от воспоминаний.

— Да...

— Мне кое-что известно о вас, а остальное вы мне сами расскажете, хорошо?

— Что я должен рассказать?

— Вы не слишком любезны...

— Может быть. Извините, но, повторяю, мне нечего рассказывать. Мне уже тридцать два года, а я еще не защитил диссертацию, не женился, и квартиры у меня нет. В моей норе уважающая себя мышь и та не станет жить. Есть у меня в вашем институте более или менее

близкий товарищ, но, послушавшись его совета, я угодил в психушку.

— Зачем же вы так — в психушку? Вам не подобает так выражаться.

— Извольте, пусть будет психиатрическая лечебница. Так вам больше нравится?

— Об этом после. Однако почему вы сказали, что у вас нет родственников? Разве этот старик, Бакар Андзавели, не родственник вам?

— Этого старика я в первый раз увидел позавчера.

— Ну и что же? Иногда мы очень поздно знакомимся со своими родственниками.

— Не знаю. Может, и родственник. Мир велик. Но...

— Да?

— Всю жизнь я гордился тем, что, кроме меня, в Грузии нет других Андзавели. А теперь лишился и этой радости.

— Зато обрели очень симпатичного родственника.

— Правда?

— Конечно. Старик нам всем очень понравился. Сознался, что немного подшутил над вами, но... это ведь не такой уж большой грех?

— Подшутил?!

— Да, подшутил.

— Господи, этот старик весь вечер настойчиво убеждал меня, что он — создатель грузинского алфавита.

— Мы это проверили.

— Что проверили?

— Позвонили в Институт языкознания, и нам сообщили, что грузинский алфавит создан много веков назад. Так что старик действительно неудачно пошутил. Сейчас он и сам жалеет об этом.

— Скажите, пожалуйста, где он сейчас находится?

— Дома.

— Где — дома?

— У себя дома.

— Да нет у него дома!

— Это уж мне неизвестно. Могу только сказать, что после тщательного всестороннего обследования про-

фессор распорядился немедленно отпустить старика домой.

— Значит, Бакар Андзавели на свободе, а я, Мераб Андзавели... ну да ладно. Скажите, где он собирается ночевать?

— Дома, — женщина даже пожала плечами.

— Не думаю, чтоб в Тбилиси у него был дом. Скоро меня выпустят отсюда?

— О, конечно, только знаете ли, это... я должна вам сказать, батано Мераб, что...

— Знаю. Знаю и то, что если человек, попав сюда, станет доказывать вам, что он не сумасшедший, то вы запрете его еще крепче и надежнее, свяжете, наденете смирительную рубашку, прикуете цепями и в конце концов действительно сведете с ума. Или, может, если я закричу на весь мир, что я не псих, не сумасшедший и не надо держать меня взаперти, то вы меня отпустите?

— Батано Мераб, знаете ли...

— Знаю. Об одном только прошу: будьте так добры, разыщите как-нибудь того старика и передайте ему ключ от моей комнаты. А то люди развонят по всему городу, что я своего единственного родственника, бедного немощного старика, сперва упрятал в психушку, а потом бросил на улице умирать от голода и холода. Скажите ему также, что под тюфяком, у изголовья, спрятаны две пятирублевки. Передайте ему еще и эту рублевку. Насколько я могу судить, мне пока что деньги не понадобятся.

— Батано Мераб, а ключ?

— Ключ под половиком возле двери.

— Хорошо. Это мы сейчас же исполним. Только...

— Нет! Пока — больше ничего. Остальное — потом!

Врач встала и направилась к выходу. Мераб заметил, что в дверях она обернулась и посмотрела на него с явным интересом, но при этом выглядела несколько озадаченной, даже растерянной. Она вышла и прикрыла за собой дверь, которую тотчас же надежно заперли снаружи.

Через час вошли те же два дюжих санитаря, взяли Мераба под руки и привели в какой-то кабинет. За сто-

дом сидела фельдшерница в белом халате. Она ласковым голосом спросила Мераба, ел ли он сегодня.

— Ел. Шашлык, чахохбили, хинкали, люля-кебаб и головку чеснока.

Женщина пожала плечами. Потом, видимо, решила, что от него нормального ответа не дождешься, и, махнув рукой, приступила к делу. Она взяла у Мераба из среднего пальца кровь, потом Мераба отвели в другой кабинет, где его взвесили, измерили рост, окружность грудной клетки и черепа, заставили несколько раз дунуть в какую-то резиновую трубку. Выведя Мераба из этого кабинета, санитары почему-то скрутили ему руки, пробежали с ним длиннейший коридор и привели в большую затемненную комнату. Здесь была установлена громоздкая аппаратура. Мераба поставили под прибор, напоминавший шлем и снабженный то ли стеклами, то ли зеркалами. Мужчина в очках и в белом халате довольно долго то ходил вокруг Мераба, то всматривался в зеркала на приборе и время от времени бросал непонятные реплики женщине, сидевшей за столом, освещенном красной лампочкой.

Потом мужчина сам присел к столу, освещенному красной лампочкой, и стал что-то быстро писать. Еще не кончив писать, он повернулся к сопровождавшим Мераба санитарам и коротко кивнул им. Они бросились к Мерабу, вывели его со скрученными руками, пробежали с ним по длинному коридору в обратную сторону и заперли его в палате. Минут через десять дверь открылась, и они же принесли Мерабу обед — кусок хлеба, суп, котлеты с макаронами и стакан компота.

— Угощайтесь, ребята!

Ребята никак не отреагировали, словно не слышали Мераба.

— Выходите, зайдете, когда я кончу.

Надзиратели стояли, как истуканы, только переглянулись.

— Что ж, так и будете стоять у меня над головой?

— Ешь, ешь, — произнес один из них.

Мераб страшно проголодался. Он махнул рукой и проглотил все в несколько минут. Надзиратели собрали посуду, вышли и заперли дверь. Прошло немного времени, и на этот раз в комнату вошел седой мужчина в очках. Его сопровождала молодая женщина. Пристав-

ленные к Мерабу молодые люди внесли два стула для врачей, а сами встали у дверей.

— Здравствуйте, батоно Мераб! — любезно, даже ласково поздоровался мужчина в очках. — Как поживаете?

И врачи сели на принесенные для них стулья.

— Ничего... я был голоден, но только что пообедал, поэтому...

— Очень хорошо. Давайте, батоно Мераб, побеседуем о ваших детских годах.

— Побеседуем, только скажите, почему на вас халаты цвета хаки?

— А какого цвета они должны быть?

— Как на всех.

— Хм! — Очкастый несколько опешил и бросил на женщину быстрый взгляд. — Не обращайтесь на это внимание, батоно Мераб. Договорились? Здесь на одних — белые халаты, а на других — цвета хаки, так что... А теперь перенесемся в детство. Золотая пора. Если бы детство никогда не кончалось, человек был бы вечно счастлив, не правда ли?

— Нет!

— Вы думаете иначе?

— Ничего я не думаю. Вот я сейчас врежу вам, сброшу со стула и этим стулом раскрою вам череп. Вот и весь разговор о моем детстве.

— О-о! Батоно Мераб! Батоно Мераб!.. Значит, вы не хотите вспоминать свое детство. Извольте, как угодно. Воля ваша. В этой комнате вы хозяин, а мы всего лишь ваши гости. Сделаем так: побеседуем на тему, которая доставит вам удовольствие.

— Не нужно мне никакого удовольствия. Я сейчас должен съесть эти макаронны. — И Мераб указал на оконные решетки.

... Вы же пообедали! Молодые люди, разве наш уважаемый Мераб не пообедал?

Дюжие ребята утвердительно кивнули головой, не произнеся ни слова.

— Может, вы не наелись?

— Да, я остался голоден. Пусть зарежут для меня корову. — Очкастый вновь опешил, взглянул на сидевшую рядом женщину, но лицо ее было непроницаемо.

«Не могут решить, псих я или нормальный, — по-

думал Мераб. — Посмотрим, сколько еще продлится эта комедия».

— Можно задать вам один вопрос? — обратился Мераб к врачу.

— Разумеется! Слушаю вас, батано Мераб! Говорите, дорогой!

— Нельзя ли, чтоб меня лечил Демур Гошадзе?

— Разве вы нуждаетесь в лечении?! — врач снова переглянулся с сидящей рядом женщиной. Она едва заметно пожала плечами и изобразила на лице что-то вроде улыбки.

— Если я не нуждаюсь в лечении, почему вы не отпускаете меня домой?

— Как не отпускаем?.. Мы только немного побеседуем с вами, батано Мераб, а потом... потом все будет в порядке.

— А потом сунете меня к шизофреникам!

— Что вы такое говорите, батано Мераб!..

В общем, беседа врача с Мерабом несколько затянулась. Врач интересовался, какими болезнями переболел Мераб в детстве, кого из родственников и близких любил больше, кого ненавидел и почему, был ли в детстве забиякой и драчуном, или тихоней... Под конец беседы врач упомянул Бакара Андзавели.

— Очень симпатичный старичок. Ваш родственник?

— Первый раз увидел его позавчера.

— Так, так... позавчера... ну, ладно... Сюда, по-моему, вы его привели, не так ли?

— Да, я.

— Да, да, очень хорошо, очень хорошо. Вы поступили, как сочли нужным. Значит, сюда вы его привели... Теперь скажите, будьте добры, вы сегодня обедали?

— Уф!

Врачи еще раз переглянулись. Затем мужчина вновь обратился в Мерабу.

— Вы остались довольны обедом?

— Никогда не ел так вкусно. Чувствую себя как во сне. Я и не знал, что в Грузии умеют готовить такие изысканные блюда. Только...

— Да, да... мы вас слушаем.

— У меня есть одно замечание.

— Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.

— По-моему, целесообразнее было бы кормить больных психически грузин грузинскими же национальными блюдами. Отчего бы не приготовить для них, например, сациви из индейки, мегрельские купаты или эларджи, хинкали, чахохбили, цыпленка-табака... Надо же понимать, что у сумасшедших только одна радость и осталась в этой жизни — вкусно поесть. Для них не существует музыка, живопись, поэзия... Они не знают, что такое нежность, любовь... семья...

— Так, так... понимаю... очень интересная мысль. Значит, сегодня вам подали не грузинские кушанья?

— Эти ребята могут подтвердить.

— Вы это хорошо помните?

— Помню! — заорал вышедший из себя Мераб, — помню! Я же нормальный! Мне сегодня принесли суп, котлеты, компот и хлеб. А теперь извольте выпустить меня отсюда! Последний раз говорю вам: я — нормальный!

Врачи разинув рты безмолвно уставились друг на друга. Потом мужчина вновь обратился к Мерабу:

— Успокойтесь, батано Мераб.

— Конечно! Ни звука больше! — Мераб вскочил и схватил свой стул. — Молчать, а не то!... Идите и пришлите сюда этого шепелявого профессора. Живо! Или я все тут разнесу в щепки!

— Сейчас, батано Мераб, сейчас!

Врачи встали и быстрыми шагами вышли из комнаты. Санитары последовали за ними и снова надежно заперли дверь снаружи.

Мераб опустил стул, сел на него и уронил голову на руки.

Его охватило отчаяние.

Мераб не знал, что именно сейчас, когда он сидел в комнате запертой и предавался отчаянью, в кабинете профессора, на стульях, расставленных вдоль стен, сидели уже знакомые нам врачи, и решали его судьбу. Обмен мнениями длился не очень долго.

— Старик Андзавели, — объявил профессор тоном, не терпящим возражений, — не вызывает у меня никаких сомнений. Он вполне нормальный и не представляет никакой опасности для общества. Уважаемый Виктор, — профессор вежливо кивнул сидящему напротив врачу, такому же седому, как он сам, — допускает, что

старик, возможно, находится во власти навязчивой идеи. Не спорю. Возможно. Но, дорогие мои, кто из нас не страдает навязчивой идеей? Вот я лично, например, тридцать лет был уверен, что сделал одно очень крупное открытие в области психиатрической науки. Ныне вы все знаете, что это абсурд. Если это и не было идефиксо, то, во всяком случае, очень походило на него. Но за эти тридцать лет я никого не убил, не поджег, даже не оскорбил. Во время еды пользуюсь ножом и вилокoй и вообще соблюдаю нормы общественной этики. Хотя — ха! ха! — первый раз увидел нож и вилокo, когда уже брил усы и бороду. Да... да... Так-то вот.

Члены ученого совета по достоинству оценили профессорскую шутку и дружно расхохотались, демонстрируя свое восхищение остроумием профессора и его простотой.

— Да-да... — продолжал профессор, очень довольный собой и своими сотрудниками, — так что этого симпатичного старика мы должны немедленно отпустить домой. Надеюсь, ученый совет разделяет мое мнение, не так ли?

— Конечно, конечно, — раздалось со всех сторон.

— Безобидный старичок!

— Очень хорошо! Уважаемый Илларион отдаст соответствующее распоряжение. Не будем медлить, батона Илларион.

— Сию минуту! — тучный мужчина в белом халате встал и быстрым шагом вышел из комнаты.

— Что касается второго, молодого Андзавели... — лицо профессора сразу стало серьезным, вроде бы даже подернулось печалью. — Не знаю. Давайте обсудим, коллеги! Я неоднократно напоминал и повторяю еще раз изречение древних римлян: пусть лучше тысячи разбойников и злодеев избегнут наказания, чем будет осужден хотя бы один невинный. Так и в нашем деле: пусть лучше тысяча сумасшедших разгуливают на свободе, чем хотя бы один нормальный, психически здоровый человек, в результате неправильного диагноза, будет заточен в стенах нашей лечебницы. Да... Тем более что... как мне стало известно, молодой Андзавели — друг детства нашего коллеги Демура... — профессор многозначительно посмотрел на Демура Гошадзе, — так что, прошу вас высказаться откровенно. Забудем.

что именно наш коллега доцент Демур Гошадзе настойчиво убеждал нас в неблагоприятном состоянии здоровья молодого Андзавели. Не правда ли?

— Да, да, так и было, — слышались голоса.

— Уважаемый Демур, надо полагать, и сам не отрицает этого?

— Да! — подтвердил Гошадзе, встав со своего места. Он выглядел несколько растерянным.

— Садитесь, пожалуйста. Да.. Не будем забывать о положительном аспекте поступка уважаемого Демура. Мы всегда должны быть начеку. Недопустимо закрывать глаза на коварные симптомы шизофрении у кого бы то ни было. Ни один случай не должен проходить мимо нашего внимания. В этом отношении на нас возложена огромная ответственность перед обществом. И даже если симптомы шизофрении обнаружатся даже у нашего ближайшего товарища... впрочем, мы не раз говорили об этом, так что не стоит повторяться. В этом заключается положительная сторона поступка уважаемого... ээ.. уважаемого Демура. А теперь, коллеги, прошу вас высказать свое мнение.

Профессор скрестил руки на груди и весь обратился в слух.

Ученому совету были доложены данные анализа крови, мочи и спиранетрии Мераба Андзавели. Затем один за другим выступили врачи, которые в тот день обследовали Мераба Андзавели. Свое авторитетное мнение высказал врач, колдовавший над Мерабом в затемненном кабинете. Почти, нет, не почти, а все без исключения выступавшие склонялись к тому мнению, что в психике Мераба Андзавели пока еще не отмечается серьезных отклонений. — Разумеется, — добавил кудесник из затемненного кабинета, — никто не может знать, что случится завтра. Но мы должны лечить тех, кто болен уже сегодня, а не тех, кто, возможно, заболит завтра или послезавтра.

— Конечно! — согласились собравшиеся, — конечно!

— А теперь послушаем уважаемого Демура, — приказал профессор и устремил на Демура острый, пронзительный взгляд.

Демур Гошадзе встал, откашлялся, достал платок

и вытер губы. Он явно тянул время, вероятно желая собраться с мыслями.

— Мне очень тяжело говорить об этом, — наконец начал он свою речь. — Как вы знаете, дело касается моего друга, с которым мы вместе росли. Да.. Однако все члены ученого совета пришли к общему мнению, что старик Андзавели совершенно здоров. И это справедливо, ибо подтверждено всесторонними исследованиями. Поэтому, если психически совершенно здорового человека другой человек пытается поместить в психиатрическую лечебницу, то следует предположить, что... мне очень тяжело это говорить, но, повторяю, следует предположить, что этот другой или сам болен, или... не знаю даже, какое слово тут более уместно... или это злоумышленник, который... да, который почему-то решил таким путем убрать с дороги своего старого родственника. Возможно, у них очень маленькая квартира и им тесно вдвоем, а Мераб решил жениться... Не исключено, что дело и в наследстве, разделе имущества. Не знаю, этот вопрос я конкретно не изучал. И я оказался перед необходимостью трудного выбора: или в психике моего друга произошли какие-то нарушения, или... или я должен был предположить худшее: Мераб Андзавели — движимый низменными побуждениями злоумышленник, который пытается избавиться от своего родственника. Но я гнал от себя подобные мысли. Трудно поверить, что он способен на такое злодейство — обречь своего родственника, совершенно здорового, ни в чем не повинного старика, на прозябание в психиатрической больнице. Возможно, в этом есть и моя вина. По мне лучше, чтоб Мераб Андзавели был помешанным, но не злоумышленником.

Демур Гошадзе сел и уронил голову на руки.

В комнате воцарилась тишина. Выступление Демура Гошадзе произвело на всех сильное впечатление. Профессор, скрестив руки на груди, казалось, окаменел, погруженный в тяжкие раздумья. Наконец он прервал тишину.

— Мдаа!.. Действительно... Что скажете, друзья? !

— Трудная ситуация.

— Нет, ситуация теперь уже не трудная, так как мы не намерены больше держать здесь Мераба Андзавели, но...

— С гражданской точки зрения уважаемый Демур безусловно прав.

— Безусловно, безусловно!

— Во всяком случае, -- твердо заявил врач, обследовавший Мераба, — в действиях моего коллеги Демура я не усматриваю никакого криминала. Наоборот!

— Вот именно — наоборот! — согласились собравшиеся.

— Я лично даже одобряю поведение Демура.

— Как вы думаете, легко ему было запереть друга детства в психиатричке? На это не каждый решится.

— Да, да! Это я и хотел сказать. Парень просто молодец.

— Хорошо, товарищи! — произнес профессор. — Присоединяюсь к вашему мнению. Но одно замечание в адрес Демура я все же должен высказать. Чувство гражданского долга — это прекрасно, но не следует забывать и о профессиональном долге. Держать здесь здорового человека — это, знаете...

— Разумеется! — всполошились члены ученого совета.

— Он в этом ошибся, безусловно!

— Безусловно, безусловно!..

— Да... — профессор снял очки и потер переносицу. — Еще пять минут назад я был очень сердит на Демура, но наш молодой коллега, как оказалось, перенес тяжкие душевные муки и заслуживает сочувствия. Мы забудем обо всем случившемся, разумеется, если в дальнейшем Демур будет так же безупречно исполнять свой профессиональный долг, как в этот раз исполнил долг гражданский и товарищеский. Что же касается Мераба Андзавели... давайте, друзья мои, прибегнем к маленькой хитрости: возьмем его на учет и назначим что-нибудь нейтральное. Это ему не повредит, вероятно, даже пойдет на пользу, он ведь несколько несдержан. На том и порешим. А вопросами наследства, квартиры и имущества пусть занимаются соответствующие органы.

* * *

У Мераба Андзавели взяли расписку в том, что пятнадцатого числа каждого месяца он должен будет являться в Институт психиатрии, в кабинет № 18 для кон-

сультации и получения лекарств, и снабдили его какими-то порошками, объяснив, что принимать их надо натощак. Мераб был на все согласен, лишь бы вырваться из этого ада. При этом он подумал, что, вероятно, и в самом деле у него что-то нашли, даром его пропустили через этот импортный аппарат — он-то уж не ошибется в отличие от врачей. До ворот Мераба проводили все те же два дюжих санитаря, но на этот раз обращались с ним совсем по-другому — просто, по-товарищески, даже предложили сигарету. У ворот дружески попрощались с ним, похлопав его по плечу.

Глава третья

Мераб взбежал по лестнице, миновал громоздившийся в полутемном коридоре хлам и, увидев ключ, торчавший в двери его комнаты, с облегчением вздохнул: значит, старика отпустили, и он добрался до дому.

Бакар одиноко и грустно сидел на единственном в комнате стуле. Он так же чувствовал себя измученным и разбитым. При виде Мераба в глазах его блеснула радость. Но тут же он покраснел и с большим трудом, кряхтя и вздыхая, приподнялся со стула, жалобно заскрипевшего от ветхости. В это время напомнила о себе проходящая в углу канализационная труба, приветствовавшая возвращение хозяина комнаты очередным ревом воды.

— Что, сынок, отпустили? — Бакар прослезился от радости.

— Отпустили. А тебя?

— И меня.

— Сердишься на меня?

— Что об этом говорить!

— Очень мучали?

— Не особенно. Догадался схитрить — какие, говорю, буквы, что еще за буквы, подшутил я над своим молодым родственником. Повертели меня так и этак, заглянули в глаза — и все. А ты?

— И я в общем легко отделался. Как добрался до дому?

— Анчисхати все знают.

— Ты, наверно, голоден? Сейчас...

— Нет. Мы не так страдаем от голода. Только...

— Только — что?

— Настиг меня архангел Гавриил.

— Кто?!

— Гавриил... Душегуб... — Бакар отвел взор от Мераба.

«Ну, началось! — у Мераба даже дух перехватило. — Если он и дальше будет нести эту ахиною, обоих нас живо вернут туда, откуда отпустили, и меня, наверно, первого».

— Вот ведь как! — вздохнул Бакар. — Поначалу он напустился на меня, как это я посмел улизнуть... Взмолился я, дождусь, говорю, родственника и тотчас последую за тобой. Еле уговорил. Вообще-то он веселый, и сердце у него доброе, но служба есть служба, сам знаешь... Вот-вот наверно явится.

— Кто явится-то?!

— Архангел Гавриил.

— Гм! — на Мерабе Андзавели лица не было. — Это... дядя Бакар...

— Вот и опять ты принимаешь меня за сумасшедшего, — Бакар, грустно улыбаясь, смотрел на Мераба. — Не смог я переубедить тебя! Так оно, наверно, и будет, пока хожу по этой земле. Только в сумасшедшем доме признали меня нормальным. Ты, сынок, однако, не пугайся Гавриила! До тебя ему дела нет, ты молод, полон сил.

Едва Бакар договорил, как в дверь сильно и как-то вроде даже весело постучали. Не успел ошеломленный, потерявший дар речи Мераб сообразить, что делать, как дверь открылась и в комнату вошел, весело улыбаясь, несколько располневший, но еще довольно молодой человек.

Продолжение следует.

**Перевод Игоря КАЛАШЬЯНА
и Юрия ЧЕИШВИЛИ.**

Сосо СИГУА

«Похищение луны» — документ эпохи

Все шесть прижизненных собраний своих сочинений (три грузинских и три русских) Константин Гамсахурдиа открыл «Похищением луны». Вероятно, по той причине, что любил этот роман больше других. Однако случилось так, что официальная критика да и читательская общественность с большим интересом отнеслись к «Деснице великого мастера» и «Давиду Строителю». Отношение к «Похищению луны» изменилось только в 70-х годах. Роману стали посвящать эссе и научные исследования, был снят двухсерийный фильм, поставлен спектакль, создана опера (за которую Отар Тактакишвили удостоился Ленинской премии). А ведь незадолго до того, когда за рубежом выходила «Десница великого мастера», К. Гамсахурдиа предлагал переводчикам взяться за «Похищение луны», но тщетно, — ему так и не довелось увидеть роман, переведенным на иностранные языки. Исправлять положение сейчас уже поздно, ибо каждое произведение — детище своей эпохи и вряд ли будет иметь соответствующий резонанс в другое время. Сегодняшний читатель живет уже иными интересами. Писатель отразил в романе дух и атмосферу 30-х годов, воплотил их в грузинском материале, пронизанном национальной, чисто грузинской скорбью. Сегодня же роману

приходится преодолевать не только языковой и национальный, но и временной барьер. А это очень и очень непросто, особенно учитывая уровень существующего русского перевода, весьма далекого от оригинала и ни на йоту не передающего его аромат и самобытность.

«Похищение луны» было написано в 1933—1934 годах и тогда же напечатано в журнале «Мнатоби», а отдельным изданием в трех книгах увидело свет в 1936 году. Роман получил широкое признание, хотя не обошлось и без критических замечаний — в основном идеологического характера. Особенно ожесточенные споры вызвали два персонажа — Тараш Эмхвари и Арзакан Звамбая. Позднее ситуация еще более осложнилась, и автор оказался перед лицом серьезной опасности. Писатель, на протяжении ряда лет отвергавший историческую прозу, неожиданно для всех отошел от современной тематики и в 1938 году опубликовал «Десницу великого мастера». К. Гамсахурдиа был подвергнут разгромной критике — в докладе Л. Берия, в выступлениях других партийных руководителей, писателей, обработанных должным образом читателей. К такого рода «критике» К. Гамсахурдиа было не привыкать. Еще до «Похищения луны» на него навешивали ярлыки «националиста», «контрреволюционера», «фашиста»...

К. Гамсахурдиа был вынужден пойти на определенный компромисс. Таким компромиссом можно считать роман «Вождь» (завершена только 1-я книга трилогии) при том, что он посвящен только отрочеству Сталина и написан в присущей К. Гамсахурдиа манере и с позиции исповедуемых им принципов. Видимо, поэтому роман и не понравился в официальных кругах, более того, вызвал явное недовольство.

1946 год принес с собой новые неприятности — К. Гамсахурдиа был выведен из состава Президиума Союза писателей Грузии, издание шеститомников на грузинском и русском языках было приостановлено, в прессе появились оскорбительные статьи в адрес писателя и т. п. Чтобы отвести от себя обвинение в эмиграции в историю, он был вынужден прервать работу над «Давидом Строителем» и написать роман на современную тематику — «Цветение лозы».

Немало поводов для политической клеветы давала и биография К. Гамсахурдиа. Он учился в университетах Германии, был членом партии социалист-федералистов, придерживался ориентации на независимость Грузии, с подозрением относился к политике большевиков, сидел в Метехской тюрьме, а в

1926 году был сослан в Соловки. В 1931 году его исключили из Союза писателей Грузии (одним из основателей которого он был)... но главное в том, что К. Гамсахурдиа как писатель оставался оппозиционером. Только в 30-х годах начали меняться его взгляды, произошла определенная переоценка ценностей. Но оказалось, что «Похищение луны» — удивительно точное предсказание будущих катаклизмов, а «Десница великого мастера» — перенесенная в историю модель 1937 года (парадигма царя-тирана и лишённого свободы творчества художника). Всем своим творчеством, мировоззрением, стилем К. Гамсахурдиа был связан с немецкой культурой (а отсюда — всего один шаг до обвинения в шпионаже), с древнегрузинским и эллинским мирами. Ко всему этому добавьте и дворянское происхождение.

До настоящего времени «Похищение луны» не изучается в школах, не издается отдельной книгой, к тому же читателю известен «исправленный» текст романа. Учащиеся знакомятся с грузинской действительностью 30-х годов лишь по «Гвади Бигва» Л. Киачели и «Заре Колхиды» К. Лордкипанидзе. И это при том, что «социалистическая деревня», какой она была на самом деле, нигде не описана так ярко и так правдиво, как в «Похищении луны»! Этот роман не только выделяется высокой культурой, вкусом и мастерством, но и является собой летопись трагической эпохи. Остается лишь удивляться, как он вообще был напечатан в те достопамятные времена — времена, когда уничтожалась культура и разрушалось национальное сознание.

С большой натяжкой можно предположить, что изображенная в «Похищении луны» абхазская и мегрельская среда с ее своеобразными именами и фамилиями, протяжными песнями, ни с какими другими не схожими обычаями, затронула какую-то человеческую струну в сердце такой личности, как Л. Берия, напомнила ему детство.

Лирико-патетическая интонация «Похищения луны», питаемая древнегрузинской речевой стихией, стилистикой Ницше, мягкостью мегрельских песнопений, сближается с дионисовски-апокалипсическими эфемерами Галактиона Табидзе.

Роман полон конкретных национальных реалий, но их обволакивает туман сновидений, доносящих до нас древнейшие мифы, легенды, ритуалы.

События сегодняшнего дня, курс на перестройку общественной жизни дали нам возможность по-новому увидеть соб-

ственную историю. В свете происходящих политических, экономических, правовых реформ по-новому осмысляются многие литературные факты, явления, имена. В этом плане особый интерес представляют социальные взаимоотношения в «Похищении луны».

Сюжетный и идейный стержень романа создают взаимоотношения Тараша Эмхвари и Арзакана Звамбая, скрытый конфликт между ними, как столкновение и противостояние двух мировоззрений, двух сил и символов. Оба они стремятся овладеть одной женщиной — сначала Тamar Шарвашидзе, а потом — Ламарией. Но это только внешнее обстоятельство, за которым бурлит целая жизнь — суровая и прекрасная, отмеченная печатью беспощадного времени. Античный рок обращивается здесь политикой, которая и управляет людскими судьбами, возносит на вершины власти или приводит к гибели.

Тараш (князь) и Арзакан (крестьянин) росли вместе, вскормлены грудью одной женщины, но именно это и стало причиной раздора, а время не только не сблизило, но и еще больше отдалило их друг от друга. Жестокость Арзакана по отношению к отцу вызвана социальными причинами, к Тарашу — любовью к дочери Шарвашидзе. Ведь Тamar — княжеского рода, и только новое время поставило ее на одну доску с крестьянином. Арзакан олицетворяет собой отмщение за вековые унижения, он стремится к самоутверждению, и это стремление проявляется и в любви. В груди Арзакана бьется сердце воина, он прям и бесстрашен, жалость и колебания ему неведомы. Кровосмешение (сон Каца) и отцеубийство окончательно порывают его связь со старой жизнью. Мосты сожжены и возврата быть не может.

В отличие от Арзакана, Тараш Эмхвари — интеллигент, мечтатель и созерцатель, крепкий физически, но подтачиваемый изнутри меланхолией.

Далекий предок Тараша — Варден Эмхвари, участвовал во взятии Карну, за что царица Тamar пожаловала ему в наследственное владение земли Эгри до самого Келасури. Но того же Вардена проклял страшным проклятием 108 псалма католикос, как спустя 700 лет проклял Тариэл Шарвашидзе последнего представителя рода Эмхвари. Знаком страшного проклятья отмечены и начало и конец рода. Вот почему на протяжении веков переходит из поколения в поколение не только воинский дух, но и вызванные проклятием невроз и ме-

ланхолия. Идеал для Тараша — его дядя Эрамхут, сражавшийся на стороне Шамиля с русскими.

В сердце Тараша Эмхвари живет языческая радость бытия, он поклоняется св. Георгию, за которым скрывается древне-грузинское божество луны. Св. Георгий был изображен на знаменах феодальной Грузии, на гербе Грузинской Демократической Республики, в его честь было возведено множество церквей. «Похищение луны», символизирующее поглощение св. Георгия Энгуром (с одной стороны — революцией, с другой — Ахаронтом), означает для Тараша Эмхвари утрату независимой Грузии, с ее дорогими сердцу языческо-христианскими представлениями, а следовательно, утрату главной цели жизни.

Тараш стоит перед выбором. И вроде бы выбирает «путь Сталина», но в конце концов вынужден признать, что не примкнул ни к фашистам, ни к коммунистам. Одной из причин неприятия им коммунистических идей стало то, что университет отверг его исследование «Колхский фетишизм», плод многолетней работы, как не отвечающее требованиям современности. Иными словами, знания Тараша, его культура не нужны социалистическому государству. Эмхвари радуют успехи Советской Грузии (хотя знаменательно, что информацию об этих успехах по радио он слушает после того, как покидает квартиру своего дяди — Ношревана Парджаниани, которого застает с перерезанным горлом, — строительство новой жизни обогрено кровью). Цивилизация как таковая страшит его, для него это маска, которая прикрывает экспансию Грузии более сильной державой. Тарашу мнится, что цивилизация сравнивает горы с долами, сотрет не только границы, но и национальные особенности.

Поэтому Тараша и влечет к себе патриархальность, первозданная природа Сванети, ее не тронутые временем обычаи. Но грохот бульдозеров доносится уже и до Сванети, и здесь уже слышна поступь новой жизни, и здесь не дано Тарашу обрести покой. Он везде лишний, везде третий. Жены у него нет, ни одна женщина не сумела родить от него сына, свой труд, оказавшийся никому не нужным, он сжег...

Впереди у Тараша — только смерть.

Тараш безгранично любит свой народ, древнюю Грузию. Потому и влечет его далекое прошлое, чистые и могучие корни, греческая культура. По своей языческой природе он тяготеет к Платону, отвергает христианство, крест Христов,

принесший Грузии неисчислимые бедствия. Исследуя колхский фетишизм, Тараш утверждает в своих мировоззренческих началах, идущих от анимистических, мифических, начальистических представлений.

Тарашем владеют две страсти — политика и женщины. Когда-то он был влюблен в Эллен Ринсер, его покоряли красота и аристократизм этой женщины. Но между ними встали родина и мать. Позднее Тараш влюбился в Тamar Шарвашидзе. Он бежал из Европы, устав от цивилизации, а Тamar влечет к себе новая жизнь. Тараш старается увлечь ее прошлым, но Тamar, равнодушная к истории, чужда романтике ушедших дней. Между ними встают время и обстоятельства.

Под конец на пути Тараша возникает сванка Ламария, и он хочет жениться на ней. Но Ламария предпочитает грубого и сильного Арзакана изнеженному и «ослабленному» цивилизацией Тарашу, жаждущему возрождения варварства. Тараша Эмхвари на смерть посылает все тот же Арзакан, молочный брат.

Противостояние Тараша и Арзакана, различия их психики и темперамента, сознания и характеров ярко показаны в романе. Писатель обосновывает свою точку зрения мифическими и историческими аллюзиями и параллелями, логическим развитием сюжета, системой архетипов, тотемов и ипостасей, тем самым восполняя психологизм сознательного психологизмом бессознательного, обращая изображение в мышление.

Писатель правильно осмыслил характер Арзакана Эвмбая, его негибкую волю, фанатическую преданность партии и Сталину, жестокость и прямоту, тягу к образованию и культуре. При всем при этом Арзакан — не созидатель, а разрушитель. Главное для него — покончить со старой жизнью. Потому он работает в ЧК, не расстается с маузером, убивает отца, потому он причастен к гибели Кору Махвша, Тamar и Тараша.

Такие, как он — стойкие, храбрые, отчаянные коммунисты — делали революцию, разрушали старый мир, но построить новый им оказалось не под силу. Если для Тараша сегодняшний день — конец истории, то для Арзакана история сегодня только начинается. Вот почему он начисто отвергает старую мораль и нравственность. Но культ голой идеи, освобожденной от человеческих ценностей, тотальный эгоизм — чреват! Арзакан приносит останки отца, убитого им в Сва-

нети в Пещере дэвов, входит в дом, сбрасывает свою ношу и нимало не смущенный присутствием рядом мертвого тела, силой овладевает Дзабули.

Лукайя умоляет Арзакана, чтобы он запретил молодежи святотатствовать, издеваться над богом, умоляет так, «будто не Арзакан это, а сам Сталин». Обиженный богом, слабоумный Лукайя лучше всех понимает, что Арзакан — не только фанатичный приверженец Сталина, но и Сталин в миниатюре, маленький диктатор. Поэтому «новый секретарь ЦК» (подражывается Л. Берия) и переводит Арзакана в «центр», т. е. в Центральный Комитет партии. Перед Арзаканом открываются широкие перспективы. Следуя логике вещей, можно предположить, что в дальнейшем он станет еще более ярким сталинистом и внесет свой вклад в грядущую трагедию.

Пока же Арзакан уже совершил великий грех — убил своего бога — отца, символизировавшего старый мир, и, ненавидя всякую патриархальность, стихийно исполнил языческий обычай (вспомните, как ненавидел отца Сталин), т. е. бессознательно он ближе к древнейшим временам, чем даже Тараш.

Кровосмешение также входит в символику власти, подразумевает преодоление запрета, путь от овладения матерью к овладению страной (вспомним страшный сон, приснившийся Юлию Цезарю накануне перехода через Рубикон).

Тараш присутствует при убийстве Мазира и тем самым становится его соучастником, хоть и пассивным. Поэтому и он бежит из Сванети. Братья-соперники совершают преступление вместе, ибо мифологически вместе противостоят отцу. Только позднее, когда отец повержен, они вступают в борьбу друг с другом, ибо каждый хочет занять освободившееся место. Распря между братьями должна завершиться трагически, ибо только один из них может сменить бога — отца, стать вождем, властелином, вершителем судеб (вспомним отдельные периоды истории КПСС). И Арзакан посылает Тараша на смерть только тогда, когда Каца уже нет в живых. Поле деятельности остается за Арзаканом. Он победил, он обзавелся семьей, он стал той силой, которая правит жизнью.

Поражение потерпел Тараш, человек высокой культуры, с европейским образованием, влюбленный в солнце Эллады, болеющий душой за судьбу родины. Победил Арзакан, маузером насаждающий новую жизнь, отвергающий вековые обычаи,

мораль, нравственность, любовь к родине, признающий только силу и власть.

Восторжествовавшее варварство уничтожает культуру и национальное сознание — такова основная идея романа, его антисталинский пафос.

К. Гамсахурдиа чувствовал приближение апокалиптической катастрофы. И когда она действительно произошла, был вынужден внести в «Похищение луны» требуемые исправления. Так, из него исчез сон Каца, в котором происходило кровосмешение, сцена убийства отца, сравнение Сталина с Наполеоном... Таким искалеченным роман попал к читателю в 1947 году (вспомним судьбу фильма С. Эйзенштейна «Бежин луг», в герое которого усмотрели сходство с Павликом Морозовым) и впоследствии по нему осуществлялись новые издания. Требования литературной общественности восстановить авторский текст оставались гласом вопиющего в пустыне. Только сейчас в произведение возвращаются отдельные эпизоды.

Кроме Арзакана в «Похищении луны» изображены и другие коммунисты — Арлан Аренба, Чалмаз и Ростом Личели. Арлан — старый большевик, кичащийся своими прошлыми заслугами. Он груб и жесток. Именно по его приказу сжигают пятисотлетний дуб, тотем жителей села, уничтожение которого символизирует начало расправы с народом. Арлан также приносит людям несчастье, его руки также обогрены кровью, но если Арзакан служит идее, то Арлана заботит личное благополучие, для достижения которого он не гнушается никакими средствами — плетет интриги, женится на дочери бывшего князя Гванджи Апакидзе. Арлан изменил своему революционному прошлому, тем идеалам, за которые некогда, не задумываясь, отдал бы жизнь. Поэтому и борются с ним Арзакан, Чалмаз и Ростом. Если вспомнить политическую терминологию 30-х годов — Арлана следовало бы причислить к так называемому «троцкистско-зиновьевскому блоку», а Чалмаза и Ростом — к истинным ленинцам, ибо всей своей жизнью, поступками, убеждениями они служат добру и справедливости, верят в человека и его светлое будущее.

Ростом был сослан еще при Николае, потом сидел при меньшевиках, сражался с Деникиным, потерял в бою руку. Теперь Арлан снял его с должности. Поэтому мать Ростом и говорит с горечью: «что же это делается, будет ли когда и на нашей улице праздник?» Этот вопрос, как и многие другие, остается без ответа. Читателю предлагается самому оценить

происходящее, сделать выводы, задуматься над тем, к чему приводят репрессии, террор, страх, целенаправленный курс на извращение психики и сознания человека.

Для К. Гамсахурдиа коммунист — понятие не однозначное. Он понимает, что коммунисты бывают разные, видит, что убрав с дороги троцкиста Арлана, к власти стремятся ленинец Чалмаз и сталинист Арзакан. Следует учесть также то, что эти двое — люди разного поколения. Не за горами время, когда «невзрачный человек в пенсне» ретиво примется проводить в Грузии волю «отца всех народов» и уничтожит ленинскую гвардию. Чалмазу суждено погибнуть от руки Арзакана.

Действие «Похищения луны» начинается в апреле 1931 и заканчивается в апреле 1932 года. Начало и конец романа увязаны с 23 апреля, днем св. Георгия. Это время, когда сплошная коллективизация еще не завершена. Против колхозов выступают братья Тарба, Гвандж Апакидзе, Ломкац Эсванджиа, Кац Звамбая, то есть фактически все слои общества, естественно, за исключением коммунистов. Но желание и воля народа никем в расчет не принимаются. С этим и связана в романе ненависть, которую питают простые люди к коммунистам. Вспомним Каца, отца Арзакана: «Пора покончить с этими, в блузах и кепках», «Оба вон из моего дома, пасите коллективных коров, но знайте, что не дождетесь от меня и иголки». «Тифлис вообще для Каца хуже чумы, оттуда, мол, все напасти — газеты, книги, социалисты, восстания, даже тиф идет к нам оттуда. В Тифлисе одни безбожники да каторжники, социалисты да душегубы».

Арзакан все же вступает в колхоз. Это вызывает разлад между отцом и сыном. Милиционер, пришедший в дом Звамбая, чтобы увести лошадь, говорит Кацу: «Жаль мне тебя, дружище. Сам знаю, что значит горькая любовь к коню. Да только я человек маленький, моего мнения никто не спрашивает». Таким образом, даже над представителем власти тяготеет чуждая, не знающая пощады сила. В тот же вечер Кац прирезал своих волов, корову и буйволицу, чтобы не достались колхозу. Нелегко далось ему это — всю ночь Кац метался, стонал, его преследовали так и оставшиеся открытыми глаза погубленной скотины, мерещился черт с козлиными рожками.

В «Похищении луны» показано, как разоряется, приходит в упадок крепкое крестьянское хозяйство, как поднимают голову затаившиеся до поры до времени помещики, дворяне.

духовенство, как усиливается ответный террор и зреет заговор против властей. К. Гамсахурдиа не сочувствует коллективизации. Он с любовью изображает поверженный мир, но не закрывает глаза и на объективную реальность, учитывает перспективы развития. Ужас крестьянской Вандеи был очевиден для него с самого начала. По более поздней оценке Сталина, в 1933 году в Союзе голодало 25—30 миллионов крестьян. Миллионы людей погибли. Считалось, что этих жертв требует индустриализация страны, предшествовавшая гибели неслыханного числа людей, принесенных на алтарь строительства социализма в 1937—1938 годах.

В 1929—1933 годах, как пишет Ю. Черниченко, погибло 17,7 млн. лошадей, 25 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе 10 млн. коров (столько, сколько насчитывается сегодня в США), 10 млн. свиней, 71 млн. овец и коз... Статья Сталина «Головокружение от успехов» (1930 г.) представляла собой попытку переложить ответственность за «перегибы» на местных руководителей и успокоить народ. Однако пагубность этого тотального, неслыханного социального эксперимента ощутили на себе не только крестьяне 30-х годов, но и последующие поколения крестьянства и, возможно, даже не менее остро.

Таких, как Тариэл Шарвашидзе, Лукайя Лабахуа, Ломцац Эсванджиа время привело к физическому уничтожению. Безжалостно стирается с лица земли мир религии (христианской и языческой). Поднимается новая волна антирелигиозного психоза. В 1929 году по указанию Л. Кагановича была спущена директива — рассматривать религиозные организации как единственно действующую легально контрреволюционную силу, то есть объявить административно-репрессивную борьбу с ними. Но если раньше закрывались церкви и монастыри, запрещались и уничтожались церковные книги, то теперь этого оказалось недостаточно. Важно стало не просто искоренить веру, но физически уничтожить служителей культа. Как цинично заявлял Сталин, есть человек — есть проблема, нет человека — нет и проблемы.

Выше уже говорилось, что в лице Тараша Эмхвари гибла старая культура, носительницей которой являлась не только аристократия, но в основном интеллигенция. Время вначале уравнило с крестьянами представителей старых аристократических фамилий — Шарвашидзе, Эмхвари, Апакидзе, отняло у них наследственные привилегии, что само по себе бы-

до достаточно болезненным. Но не довольствуясь этим, сталинская диктатура приступила к их физической ликвидации. Победившая революция отказывается и от западной культуры, которая считается буржуазной. Ополчается она и против патриархальности. На первый взгляд это вроде бы путь к прогрессу, но для Тараша — часть трагедии. Сталинский социализм выступает под лозунгом цивилизации — именем цивилизации прокладывается дорога в Сванети, где уничтожаются древнейший род, создается комсомол, губится мезир — символ патриархальности. Теперь, зная сущность сталинского социализма, мы понимаем и то, что это насильственное преобразование не могло принести счастья. Страх и хаос, вражда и раздор поселились в горах, а значит стали неизбежны кровопролития.

Новая цивилизация требует крови отцов, братьев, друзей. Роман К. Гамсахурдиа показывает, как тотально подавляется воля личности, подготавливается атмосфера великой катастрофы — апокалипсического потока (всадники которого снятся Тамар и Тарашу), кто будет ее направляющей силой.

В «Похищении луны» неоднократно упоминается Сталин. Представляют интересы связанные с вождем мысли Тараша, его амбивалентное отношение к нему.

Потомок старинного аристократического рода превозносит Сталина, ставит его выше Цезаря, Петра Великого, Наполеона. И не потому, что сочувствует его политике. Тараш хорошо понимает, что именно благодаря Сталину разрушена его семья, а сам он вынужден был бежать за границу, потом оказался в тюрьме, у него отняли имение, загубили его труд и отрезали ему путь в будущее. И все же Тараш романтик и созерцатель, человек не от мира сего, больше всего на свете он ценит «силу и красоту». Для него сильная личность всегда прекрасна, ибо является избранницей судьбы, или самой судьбой.

Интерес Тараша к Амог fati проявляется в культе сильной личности, который, с одной стороны, ведет к ницшеанскому сверхчеловеку, а с другой — греческому хтетизму. Вообще в первой половине XX века многие народы были увлечены идеей новоявленного Мессии. Не последнюю роль здесь сыграло и то, что такие фигуры, как Наполеон и Сталин, были порождением революции, и только необходимость борьбы с внутренней или международной реакцией превратила их в диктаторов. Тараш как будто не делает различия между На-

полеоном и Сталиным. Последний для него — «герой без меча», ведущий в тиши своего кабинета жесточайшие сражения. Но прошли годы и Сталин вслед за Наполеоном поднял меч, чтобы обрушить его, прежде всего, на своих бывших соратников и единомышленников. Тараш сравнивает любовь к позе Наполеона и простоту Сталина. Только время показало, что эта простота таила в себе такую жестокость и такую манию величия, которые и не снились Наполеону. Итак, сущность сильной личности осталась прежней, изменились только формы ее проявления, ее маска. По мнению Тараша, Сталин — «природная стихия», «извержение вулкана», лишь издали являющее собой великолепное зрелище. Поднятые им бури, так или иначе, настигли всех его современников. «Одни сгорали в огненном ливне, другие погребены под глыбами земли, третьи развалены, четвертые просто исчезли неизвестно куда. Поэтому множество людей боятся его...» Здесь Сталин предстает как сила, стоящая по ту сторону добра и зла, сверхчеловек, говоря словами Ницше, чудовище с ангельскими крыльями.

В 1933—1934 годах никому еще не было ясно, во что выльется революция. И тем не менее, если вакханалия власти, фанатизм, разрушение старого, пафос обновления, насильственные эксперименты с одной стороны возбуждали героико-массовую игру, то с другой стороны — вызывали у честных людей страх и депрессию. Это двуликое, как сам Янус, время — дух эпохи, выразившийся в человеческих образах, пройдя через воображение писателя, нашли воплощение в его романе. Вот почему «Похищение луны» воспринимается сегодня не только как замечательное произведение большого художника, но и как правдивый документ эпохи.



НИТИ, КОТОРЫЕ НЕ РВУТСЯ

Литературно-культурные связи Грузии с другими странами — вопрос многогранный и сложный. Подтверждением тому служит книга Наталии Орловской «Вопросы литературных связей Грузии с Западом» (изд-во Тбилисского университета, 1986), в которой рассматривается немало не известных до настоящего времени материалов. Работа содержит богатую информацию, а сделанные в ней выводы основываются на тщательно проведенном филологическом и историческом исследовании.

Монография состоит из двух частей. В первой рассматриваются материалы о Грузии, имеющиеся в некоторых европейских источниках XVI—XIX веков. Здесь затронуты различные вопросы и по возможности соблюдается хронологический и тематический принцип. В первых главах речь идет о памятниках художественной литературы, в которых присутствует тема Грузии. Задача автора — выявить возможные источники сведений о Грузии и проследить, как они использованы в произведениях авторов, писавших в разных жанрах и в разные периоды литературного развития.

В эпоху Возрождения, благодаря интересу к античной культуре, европейцы узнали о древней Иберии и Колхиде. Английский писатель XVI века Филип Сидни в своем пасторальном романе «Аркадия» одним из героев выводит иберийского принца. В соответствии с жанром в романе нет никаких исторических данных, но, судя по переписке Сидни, он изучал изданные в то время географические карты древнего мира и, следовательно, имел представление о местоположении Иберии, куда переносится действие некоторых эпизодов его книги.

С Иберией же связана пьеса «Король и не король» (1611), авторами которой являются два очень известных англ-

лийских драматурга — Фрэнсис Бомонт и Джон Флетчер. Хотя пьеса не опирается на исторические факты, отдельные эпизоды и имена действующих лиц указывают, что авторы были знакомы с памятниками античной литературы, особенно с «Киропедией» Ксенофонта.

Данные об Иберии I века н. э. были почерпнуты европейской художественной литературой из сочинения Тацита «Анналы». Ряд произведений о судьбе иберийского принца Радамиста рассматривался в ранее изданной монографии Н. К. Орловской «Грузия в литературах Западной Европы XVII—XVIII веков». Наиболее интересная обработка сведений Тацита принадлежит перу французского драматурга Проспера Жюлио Кребийона. Его пьеса «Радамист и Зенобия», поставленная на сцене в 1711 г., удержалась в репертуаре французского театра вплоть до 20-х годов прошлого столетия.

Специальная глава разбираемой книги посвящена анализу произведений, послуживших источниками для пьесы Кребийона. Главный из них — роман малоизвестного французского автора Ж. Р. де Сегре «Береника». Изданный в середине XVII в., он больше не переиздавался и представляет библиографическую редкость. Изучить его удалось по микрофильму, полученному из Парижской национальной библиотеки. Сравнение описаний Тацита с их переработкой в форме романа и пьесы, показ художественной трансформации первоначальных исторических данных в сочинениях Сегре и Кребийона представлены в монографии очень убедительно и, несомненно, будут интересны для специалистов по французской литературе.

Античные сказания об аргонавтах были широко известны на Западе и послужили основой для ряда литературных переработок. Но Н. Орловская рассматривает эту тему по не известным у нас до сих пор памятникам. Это тексты французских музыкально-драматических произведений эпохи классицизма, в центре которых — трагический образ дочери колхского царя Медеи, своеобразно интерпретируемый разными авторами.

Внимание читателя привлекают и те главы книги Н. Орловской, в которых рассматриваются литературные переработки сведений о Грузии нового времени. С лирикой поэта-романтика Томаса Мура грузинские читатели ознакомились еще в прошлом веке, сам И. Чавчавадзе обращался к переводу его стихов. Но в рассматриваемой книге речь идет не о лирике, а о поэме Мура «Лалла Рук», в которой имеется связанный с

Грузией эпизод. Хотелось бы, чтобы Н. Орловская в будущем обратила внимание на знаменитое стихотворение Мура «Вечерний звон», которое, по мнению некоторых исследователей, перекликается с сочинением Георгия Мтацминдэли.

В 1887 г. газета «Иверия», редактируемая Ильей Чавчавадзе, опубликовала грузинский перевод повести популярного тогда итальянского писателя Энрико Кастельнуово «Дневник Елены», один из героев которой связан с Грузией. Анализ текста и библиографические поиски позволили определить источники, которыми пользовался писатель. Среди них книга французского путешественника Орсоля, который помимо описаний природы и древних архитектурных памятников Грузии рассказывает о ее литературной жизни, делает заметки о грузинской журналистике и художественном переводе.

Грузия как страна древней письменности и самобытной культуры давно привлекала внимание европейцев. В книге Н. Орловской рассмотрены некоторые до настоящего времени не разработанные материалы. Так, хорошо известна специалистам грузинская грамматика, составленная в XVII в. итальянцем Франческо-Мариа Маджо. Но рецензия на эту книгу, которая была опубликована в 1670 г. на страницах итальянского журнала «Джиорнале дэ леттэрати», разбирается впервые. По микрофильму, выписанному из Неаполитанской национальной библиотеки, исследованы составленные в XVII в. итало-грузинский и грузино-итальянский словари. Их автор, итальянский миссионер Бернардо-Мариа Неаполитанский долгое время жил в Грузии и изучил грузинский язык. Словари остались в рукописи, они не закончены, но довольно объемисты и содержат интересные грамматические приписки. Несмотря на характерные для иностранца ошибки, они представляют значительное явление в истории изучения европейцами грузинского языка.

Из книг, созданных в XIX в., Н. Орловская рассказывает о грузинском словаре, приложенном к описанию путешествий француза Ж. Ф. Гамба. Специальная глава посвящена английскому ученому У. Р. Морфиллу, который побывал в Грузии, поддерживал связи с грузинскими литераторами и одним из первых в Англии систематически публиковал материалы о Грузии, ее истории и письменности.

Хорошо известны заслуги М. Броссе перед грузинской культурой. Н. Орловская рассматривает деятельность Броссе в связи с переводами, сделанными им из издававшейся в Грузии

газеты «Тифлисские ведомости». Эти публикации — дали возможность французским читателям получить хотя бы небольшие, но подлинные сведения о традициях прошлого и о современной жизни страны. Кроме того, говорится о письме Вахтанга VI, которое Броссе опубликовал в журнале Парижского Азиатского общества.

С этим же письмом связана глава, в которой разбирается книга французского автора XIX века Де Мольд Ла Клавьера «1001 ночь посланницы Людовика XIV», в ней идет речь о Грузии эпохи Вахтанга VI.

Часто встречаются описания Грузии в записках европейских путешественников. Для своего времени они являлись главным источником информации о стране, и именно из них черпали ее литераторы, писавшие о Грузии. Н. Орловская рассматривает несколько сочинений конца XVIII — начала XIX в., созданных в один и тот же период, это позволяет лучше представить как различные стороны жизни Грузии того времени, так и своеобразие интересов различных путешественников. Особого внимания заслуживает анализ книги польского ученого Яна Потоцкого, описавшего свои встречи с грузинскими деятелями — Мирианом Багратиони и Гайозом Ректором.

Вторая часть книги посвящена рассмотрению некоторых вопросов из истории перевода произведений европейской литературы на грузинский язык. Особо следует выделить анализ итальянских параллелей в словаре грузинского писателя и лексикографа XVIII века Сулхана-Саба Орбелиани. Они явились результатом путешествия писателя в Европу и общения с итальянскими миссионерами, а потому их следует расценивать как важный памятник грузинско-итальянских связей того времени.

Книга содержит много ценных данных по проблеме художественных переводов, сделанных в XIX в., когда сильно возрос интерес грузинской общественности к европейской литературе. Круг вопросов разнообразен, затронуты сочинения писателей разных стран и разного времени, включая и классиков прошлого — Шекспира, Мольера, Дефо, Шиллера и современных для того времени сочинений итальянских поэтов Леопарди, Меркантини, испанской писательницы Пардо-Басан и др. Мы узнаем, что первые переводы знаменитого «Робинзона Крузо» были сделаны с переделанных вариантов книги Дефо, а знакомство грузинских читателей с Диккенсом началось с его рассказов и т. п.

Грузинский текст нередко составлялся не по оригиналу, а

по другим переводам. Поэтому определение источника, которым пользовались переводчики, приобретает особое значение. Так, например, Антон Пурцеладзе опубликовал перевод стихотворения, принадлежащего якобы перу итальянца Леопарди, автором которого на деле был венгерский поэт-революционер М. Вёрёшмарти. Разыскания в русской периодической прессе позволили Н. Орловской установить, что это не ошибка грузинского переводчика, он пользовался русской публикацией, в которой, очевидно по цензурным соображениям, стихотворение было приписано итальянскому поэту. Тот же сложный путь литературных разысканий позволил автору определить, что оставшийся в рукописи грузинский перевод произведения «Грамматика любви» принадлежит не знаменитому комедиографу Мольеру, а французскому писателю XIX в. Жюлю Демольеру, писавшему под псевдонимом Молери.

Переводная литература — показатель растущих культурных связей. Поэтому понятно, что анализ фактического материала органически сочетается в книге с вопросами национальной жизни Грузии, с задачами прессы и театрального искусства, которые обусловили выбор переводимых произведений и их интерпретацию. Показательно, что переводами занимались многие ведущие писатели и общественные деятели. В монографии идёт речь о переводах, выполненных Дмитрием Кипиани, Акакием Церетели, Георгием Церетели, Иродионом Евдошвили и многими другими.

Разбирая грузино-европейские литературные связи, Н. Орловская, естественно, не прошла мимо таких деятелей, как Нико Николадзе и Иванэ Мачабели. В главе о Николадзе, помимо его собственных работ о французской журналистике, использованы сохранившиеся в его архиве письма к нему французских авторов. Что же касается Мачабели, то в монографии разбирается ранний период его деятельности и сделанные им переводы одной комедии Гольдони и пьес французских драматургов, в том числе Мольера.

Интересна глава, в которой рассказывается, как Мачабели изучал английский язык. Сохранился учебник, принадлежавший Мачабели, в нем имеются сделанные его рукой многочисленные пометки. Прделанный Н. Орловской анализ этого материала убедительно раскрывает метод работы Мачабели, его умение творчески разбираться в особенностях языка. Эта глава может быть полезна преподавателям иностранного языка и методистам в их теоретической и практической работе.

Исследование литературных связей всегда требует привлечения большого материала. Н. Орловская в этом смысле превзошла все ожидания, проработав множество книг из библиотек нашей страны и зарубежных центров, используя многочисленные периодические издания и материалы рукописных фондов. На должном уровне научный аппарат монографии: точно указываются все источники, к тексту приложен указатель имен на русском, грузинском и иностранных языках. Желательно было бы лишь добавить библиографию работ грузинских исследователей по вопросам литературно-культурных связей Грузии с Западом.

Широтой проблематики и глубоко продуманным методом исследования монография Н. Орловской (редактор Е. Метрели), несомненно, привлечет внимание филологов, занимающихся вопросами литературных взаимосвязей и историей зарубежной литературы, а также специалистов в области грузинской литературы, истории, журналистики. Однако научное филологическое исследование написано так ясно, а процесс разыскания материалов и их анализа представлен столь увлекательно, что книга будет интересна не только для специалистов, но и для широкого круга читателей.

Этери ТОПУРИДЗЕ



**ДВА ДОГОВОРА С ДВУМЯ
ОДНОСТОРОННИМИ КОММЕНТАРИЯМИ
Договор 1783 года о вступлении
Восточной Грузии под
покровительство России
(ПРЕАМУЛА И ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ)**

В о имя Бога всемогущего, единого, в троице святей сла-
вимаго.

От давняго времени Всероссийская империя по единоверию с грузинскими народами служила защитою, помощию и убежищем тем народам и светлейшим владетелям их против угнетений, коим они от соседей своих подвержены были. Покровительство Всероссийскими самодержцами царям Грузинским, роду и подданным им даруемое, произвело ту зависимость последних от первых, которая наипаче оказывается от самого российско-императорского титула. Ея Императорское Величество, ныне благополучно царствующая, достаточным образом изъявила монаршее свое к сим народам благоволение и великодушный о благе их промысл сильными своими стараниями, приложенными о избавлении их от ига рабства и от поносной дани отроками и отроковицами, которую некоторые из сих народов давать обязаны были, и продолжением своего монаршаго призрения ко владетелям оных. В сем самом расположении снисходя на прошения ко престолу ея, принесенныя от светлейшаго царя Карталинского и Кахетинского Ираклия Теймуразовича, о принятии его со всеми его наследниками и преемниками и со всеми его царствами и областями в монаршее покровительство Ея Величества и Ея высоких наследников и преемников, с признанием верховной власти Всероссийских императоров над царями Карталинскими и Кахетинскими, всемилостивейше восхотела постановить и заключить с по-

мянутым светлейшим царем дружественный договор, посредством коего, с одной стороны, его светлость именем своим и своих преемников, признавая верховную власть и покровительство Ея Императорского Величества и высоких Ея преемников над владетелями и народами царств Карталинского и Кахетинского и прочих областей, к ним принадлежащих, ознаменил бы торжественным и точным образом обязательства свои в рассуждении Всероссийской империи: а с другой — Ея Императорское Величество также могла бы ознаменовать торжественно, каковыя преимущества и выгоды от щедрой и сильной Ея десницы даруются помянутым народам и светлейшим их владетелям.

К заключению такового договора Ея Императорское Величество уполномочить изволила светлейшаго князя Римския империи Григорья Александровича Потемкина, войск своих генерал-аншефа, повелевающего легкою конницею регулярною и нерегулярною и многими другими военными силами, сенатора, государственной Военной коллегии вице-президента, Астраханского, Саратовского, Азовского и Новороссийского государева наместника, своего генерал-адъютанта и действительнаго камергера, кавалергардскаго корпуса поручика, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковника, главнаго начальника мастеровой Оружейной палаты, кавалера орденов святых апостола Андрея, Александра Невскаго, военнаго святаго великомученика Георгия и святаго равноапостольнаго князя Владимира больших крестов, королевских Прусскаго Чернаго и Польских Белаго Орлов и святаго Станислава, Шведскаго Серафимов, Датскаго Слона и Голстинскаго святаго Анны, со властью, за отсутствием своим избрать и снабдить полною мочью от себя, кого он за благо разсудит, который потому избрал и уполномочил превосходительнаго господина от армии Ея Императорскаго Величества генерал-поручика войсками в Астраханской губернии командующаго, Ея Императорскаго Величества действительнаго камергера и орденов Российских святых Александра Невскаго, военнаго великомученика и Победоносца Георгия и Голстинскаго святаго Анны кавалера Павла Потемкина; а его светлость Карталинский и Кахетинский царь Ираклий Теймуразович избрал и уполномочил с своей стороны их сиятельства своего генерала от левой руки князя Ивана Константиновича Багратиони и его светлости генерал-адъютанта князя Гарсевана Чавчавадзе. Помянутые полномочные, приступив с помощью Божиею к делу и разменяв взаимныя полномочия, по силе их постановили, заключили и подписали следующие артикулы.

Артикул первый

Его светлость царь Карталинский и Кахетинский именем своим, наследников и преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого вассальства, или под каким бы то титулом ни было от всякой зависимости от Персии или иной державы; и сим объявляет пред лицом всего света, что он не признает над собою и преемниками инаго самодержавия, кроме верховной власти и покровительства Ея Императорскаго Величества и Ея высоких наследников и преемников престола Всероссийскаго императорскаго, обещая тому престолу верность и готовность пособствовать пользе государства во всяком случае, где от него то требоваго будет.

Артикул второй

Ея Императорское Величество, приемля со стороны его светлости толь чистосердечное обещание, равномерно обещает и обнадеживает императорским своим словом за себя и преемников своих, что милость и покровительство их от светлейших царей Карталинских и Кахетинских никогда отъемлемы не будут. В доказательство чего Ея Величество дает императорское свое ручательство на сохранение целости настоящих владений его светлости царя Ираклия Теймуразовича, предполагая распространить таковое ручательство и на такая владения, кои в течение времени по обстоятельствам приобретены и прочным образом за ним утверждены будут.

Артикул третий

В изъявление того чистосердечия, с каковым его светлость царь Карталинский и Кахетинский признает верховную власть и покровительство Всероссийских императоров, постановлено, что помянутые цари, вступая наследственно на царство их, имеют тотчас извещать о том Российскому императорскому двору, испрашивая чрез посланников своих императорскаго на царство подтверждения с инвеститурою, состоящею в грамоте, знамени с гербом Всероссийской империи, имеющим внутри себя герб помянутых царств, в сабле, в повелительном жезле и в мантии или епанче горностаевой. Сии знаки или посланникам вручены будут, или же чрез пограничное начальство доставлены будут к царю, который при получении их в присутствии российского министра долженствует торжественно учинить присягу на верность

и усердие к Российской империи и на признание верховной власти и покровительства Всероссийских императоров по форме, прилагаемой при сем трактате. Обряд сей и ныне исполнен да будет со стороны светлейшаго царя Ираклия Теймуразовича.

Артикул четвертый

Для доказательства, что намерения его светлости в разсуждении толь теснаго его соединения со Всероссийскою империею и признания верховной власти и покровительства всепресветлейших тоя империи обладателей суть непорочны, обещает его светлость, без предварительнаго соглашения с главным пограничным начальником и министром Ея Императорскаго Величества, при нем аккредитуемым, не иметь сношения с окрестными владетелями. А когда от них приедут посланцы или присланы будут письма, оныя принимая, советовать с главным пограничным начальником и с министром Ея Императорскаго Величества о возвращении таковых посланцев и о надлежащей их владетелям отповеди.

Артикул пятый

Чтоб удобнее иметь всякое нужное сношение и соглашение с Российским императорским двором, его светлость царь желает иметь при том дворе своего министра или резидента, а Ея Императорское Величество, милостиво то приемля, обещает, что оный при дворе Ея принимаем будет наряду с прочими владетельных князей министрами равного ему характера, и сверху того соизволяет и с своей стороны содержать при его светлости российского министра или резидента.

Артикул шестой

Ея Императорское Величество, приемля с благоволением признание верховной Ея власти и покровительства над царствами Карталинским и Грузинским, обещает именем своим и преемников своих: «1е». Народы тех царств почитать пребывающими в тесном союзе и совершенном согласии с империею Ея и, следовательно, неприятелей их признавать за своих неприятелей: чего ради мир с Портою Оттоманскою, или Персиею, или иною державою и областью заключаемый, должен распространяться и на сии покровительствуемые Ея Величеством народы. «2е». Светлейшаго царя Ираклия Теймуразовича и его дому наследников и потомков сохранять безпеременно на царстве Карталинском и

Кахетинском. «Зе». Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и сбор податей предоставить его светлости царю в полную его волю и пользу, запрещая своему военному и гражданскому начальству вступаться в какие-либо распоряжения.

Артикул седьмой

Его светлость царь, приемля с достодолжным благогсвением толь милостивое со стороны Ея Императорского Величества обнадуживание, обещает за себя и потомков своих: «1е». Быть всегда готовым на службу Ея Величества с войсками своими. «2е». С начальниками российскими обращая во всегдашнем сношении по всем делам, до службы Ея Императорского Величества касающимся, удовлетворять их требованиям и подданных ея величества охранять от всяких обид и претеснений. «3е». В определении людей к местам и возвышении их в чины отменное оказывать уважение на заслуги пред Всероссийскою империею, от покровительства коея зависит спокойствие и благоденствие царств Карталинского и Кахетинского.

Артикул осьмой

В доказательство особливаго монаршаго благоволения к его светлости царю и для вящаго соединения с Россиею сих единовѣрных народов Ея Императорское Величество соизволяет, чтоб каталикос или начальствующий архиепископ их состоял местом в числе российских архиереев в осьмой степени, именно после Тобольскаго, всемилостивейше жалуя ему навсегда титул святайшаго Синода члена; о управлении же грузинския церкви и отношении, каковое долженствует быть к Синоду российскому, о том составится особливый артикул.

Артикул девятый

Простирая милость свою к подданным его светлости царя князьям и дворянам, Ея Императорское Величество устанавливает, что оные во Всероссийской империи будут пользоваться всеми теми преимуществами и выгодами, кои российским благородным присвоены; а его светлость, приемля с благодарностию толь милостивсе к подданным его снисхождение, обязывается прислать ко двору Ея Величества списки всех благородных фамилий, дабы по оным можно было знать в точности, кому таковое отличное право принадлежит.

Артикул десятый

Постановляется, что все вообще уроженцы карталинские и кахетинские могут в России селиться, выезжать и паки возвращаться безвозбранно; пленные же, если оные оружием или переговорами у турок и персиян или других народов освобождены будут, да отпустятся восвосяи по их желаниям, возвращая только издержки на их выкуп и вывоз; сие самое и его светлость царь обещает исполнять свято в разсуждении российских подданных, в плен к соседям попадающихся.

Артикул первый надесять

Купечество карталинское и кахетинское имеет свободу от-правлять свои торги в России, пользуясь теми же правами и преимуществами, коими природные российские подданные пользуются; взаимно же царь обещает постановить с главным начальником пограничным или с министром Ея Величества о всемерном облегчении купечества российского в торге их в областях его или в проезд их для торгу в другия места, без такового точнаго постановления и условие о выгодах его купечества места иметь не может.

Артикул второй надесять

Сей договор делается на вечныя времена; но ежели что-либо усмотрено будет нужным переменить или прибавить для взаимной пользы, оное да возымеет место по обостороннему соглашению.

Артикул третий надесять

Ратификации на настоящий трактат долженствуют разменены быть в шесть месяцев от подписания его или и скорее, буде возможно.

В доствоверие чего нижеподписавшиися полномочные, по силе их полных мочей, подписали сии артикулы и приложили к ним свои печати в Георгиевской¹ крепости июля 24-го дня 1783-го года.

На подлинном подписано:

Павел ПОТЕМКИН
князь **Иван БАГРАТИОН**
князь **Гарсеван ЧАВЧАВАДЗЕ**

¹ В тексте — Егорьевской.

СЕПАРАТНЫЕ АРТИКУЛЫ

Артикул сепаратный первый

Твердое Ея Императорскаго Величества намерение, дабы единоверные ей народы, толь тесными узами с империею Ея соединенныя, пребывали между собою в дружестве и совершенном согласии, в страх завистующим им соседям и в отражение соединенными силами всякаго покушения на их свободу, спокойствие и благоденствие, побуждает Ея Величество преподать его светлости царю Карталинскому и Кахетинскому Ираклию Теймуразовичу дружественные советы и увещания о сохранении дружбы и добраго согласия с светлейшим царем Имеретинским Соломоном и о постановлении всего того, что может только пособствовать пресечению различных распрей, и к упреждению всяких недоразумений, обещая императорским своим словом не только споспешествовать стараниями своими событию сего толико полезнаго дела, но и на таковой мир и согласие дать свое ручательство.

Его светлость царь Ираклий, приемля с должною благодарностию великодушныя Ея Величества попечения о соблюдении дружбы между народами одинаго происхождения и закона и высочайшее Ее ручательство, исповедует сим, что в делах их взаимных с светлейшим царем Соломоном ныне и впредь признает Ея Императорское Величество совершенным арбитром, подвергая распри и недоразумения между двумя владетелями, паче всякаго чаяния происходящая, Ее верховному решению.

Артикул сепаратный второй

Для охранения владений Карталинских и Кахетинских от всякаго прикосновения со стороны соседей и для подкрепления войск его светлости царя на оборону Ея Императорское Величество обещает содержать в областях его два полные баталиона пехоты с четырьмя пушками, которым провиант и фураж по их штатам производиться будет в натуре от земли по соглашению его светлости с главным пограничным начальником за положенную в штатах цену.

Артикул сепаратный третий

На случай войны главный пограничный начальник всегда со стороны Ея Императорскаго Величества уполномочен быть долженствует с его светлостью царем Карталинским и Кахетинским

согласить и положить на мере о защищении означенных земель и о действии против неприятеля, который не иначе как за общего врага разумеем быть должен. При чем постановляется, что ежели бы часть войск карталинских и кахетинских употреблена была для службы Ея Императорского Величества вне пределов их, то оным иметь быть производимо полное содержание противу прочих войск Ея Величества.

Артикул сепаратный четвертый

Ея Императорское Величество обещает в случае войны употребить всевозможное старание пособием оружия, а в случае мира настоянием о возвращении земель и мест, издавна к царству Карталинскому и Кахетинскому принадлежавших, кои и останутся во владении царей тамошних на основании трактата о покровительстве и верховной власти Всероссийских императоров над ними заключенного.

Сии сепаратные артикулы будут иметь таковую же силу, как бы оныя в самый трактат от слова в слово внесены были; чего ради и ратификации на них в тот же срок вместе разменены быть должны.

В достоверие чего нижеподписавшиеся полномочные по силе их полных мочей подписали сии артикулы и приложили к ним свои печати в Егорьевской крепости июля 24-го 1783-го года.

На подлинном подписано:

Павел ПОТЕМКИН

Князь Иван БАГРАТИОН

Князь Гарсеван ЧАВЧАВАДЗЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРТИКУЛ

(О венчании и помазании на царство царей Карталинских и Кахетинских)

Как Карталинския и Кахетинския цари от древних времен венчаются царским венцом и помазуются на царство святым миром, то Ея Императорское Величество именем своим и преемников своего императорского престола не только всемилостивейше дозволяет помянутым царям употребление сего священного обряда, но еще в вящее доказательство отличного своего благоволения жалует им сверх прочих знаков императорской на царство инвеституры, в договоре положенных, обыкновенную царскую

корону, которую как его высочество ныне владеющий царь Ираклий Второй употребляет, так и светлейшие его преемники тою же венчаемы быть должны.

Его высочество царь Ираклий сию высочайшую милость Ея Императорского Величества с достоуважительным благоговением и благодарностию приемля, обещает именем своим и преемников своих, что обряд священного тех преемников его на царство венчания и помазания не прежде совершаем будет, как по учинении положенной трактатом присяги на верность Всероссийскому императорскому престолу и по получении утвердительной императорской грамоты с инвенстиурою.

Сей артикул имеет почитать быть принадлежащим к числу других, трактат составляющих, в достоверие чего уполномоченные к подписанию того трактата по данной им доверенности оной подписали и печатями укрепили в «...» месяца 178... года

Павел ПОТЕМКИН
Князь Иван БАГРАТИОН
Князь Гарсеван ЧАВЧАВАДЗЕ

(ОБРАЗЕЦ ПРИСЯГИ)

Образец, по которому его светлость царь Карталинский и Кахетинский Ираклий Теймуразович учинит клятвенное обещание на верность Ея Императорскому Величеству, самодержице Всероссийской и на признание покровительства и верховной власти Всероссийских императоров над царями Карталинскими и Кахетинскими.

Аз, нижеименованный обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Ея Императорскому Величеству, всепресветлейшей и державнейшей великой государыне императрице и самодержице Всероссийской Екатерине Алексеевне и Ея любезнейшему сыну пресветлейшему государю цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу, законному Всероссийского императорского престола наследнику и всем высоким преемникам того престола верным, усердным и доброжелательным быть, признавая именем моим, наследников и преемников моих и всех моих царств и областей на вечные времена высочайшее покровительство и верховную власть Ея Императорского Величества и Ея высоких наследников над мною и моими преемниками царями Карталинскими и Кахетинскими, и, вследствие того, отвергая всякое надо мною и владениями моими,

под каким бы то титулом или предлогом ни было, господствование или власть других государств и держав, и отрицаясь от покровительства их, обязываюся по чистой моей христианской совести неприятелей Российскаго государства почитать за своих собственных неприятелей, быть послушным и готовым во всяком случае, где на службу Ея Императорскаго Величества и государства Всероссийскаго потребен буду; и в том во всем не щадить живота своего до послѣдняя капли крови; с военными и гражданскими Ея Величества начальниками и служителями обращаться в искреннем согласии; и ежели какое-либо предосудительное пользе и славе Ея Величества и Ея империи дело или намерение узнаю, тотчас давать знать; одним словом, так поступать, как по единоверию моему с российскими народами и по обязанности моей в разсуждении покровительства и верховной власти Ея Императорскаго Величества прилично и должно. В заключении сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

Сей образец имеет служить и будущим впредь царям Карталинским и Кахетинским для учинения клятвеннаго обещания при вступлении их на царство и при получении подтвердительной грамоты с знаками инвеституры от Российскаго императорскаго двора жалуемой.

В достоверие сего нижеподписавшиися полномочные по силе их полных мочей тот образец подписали и приложили к нему свои печати в Егорьевской крепости июля 24-го дня 1783-го года.

На подлинном подписано:

Павел ПОТЕМКИН

Князь **Иван БАГРАТИОН**

Князь **Гарсеван ЧАВЧАВАДЗЕ**



Первый комментарий:

Из Манифеста императора Александра I от 12 сентября 1801 г. «...Не для приращенія сил, не для распространения пределов и так уже обширнейшей в свете Империи приемлемы на себя бремя управления царства Грузинскаго: — единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас свя-

щенный долг, вняв молению страждущих, в отвращение от скорбей, учредить в Грузии правление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона...»



1820 г. мая 7. Мирный договор между РСФСР и Грузией

Демократическая республика Грузии, с одной стороны, и Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, с другой, руководимые общим желанием установить между обеими странами прочное и мирное сожительство на благо населяющих обе страны народов, решили заключить для сего особый договор и назначили для сего своими уполномоченными: Правительство Демократической республики Грузии — Члена Учредительного собрания Грузии Григория Илларионовича Уратадзе и правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — заместителя народного комиссара по иностранным делам Льва Михайловича Карахана. Означенные уполномоченные, по взаимном осведомлении о своих полномочиях, признанных дающими перечисленным выше лицам право на подписание настоящего договора, согласились о нижеследующих статьях:

Статья I.

Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное самоопределение, вплоть до полного отделения от государства, в состав которого они входят, Россия безоговорочно признает независимость и самостоятельность Грузинского государства и отказывается добровольно от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к грузинскому народу и земле.

Статья II.

Исходя из провозглашенных в предшествующей статье 1-ой настоящего договора принципов, Россия обязуется отказаться от всякого вмешательства во внутренние дела Грузии.

Статья III.

1. Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча, через гору Ахахча и гору Агапет и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией.

2. Все перевалы на означенной пограничной линии до первого января тысяча девятьсот двадцать второго года признаются нейтральными. Они не могут быть занимаемы войсками ни одной из обеих договаривающихся сторон и не могут быть ни одной из них укрепляемы.

3. На Дарьяльском перевале указанная в пункте 2 настоящей статьи нейтрализация будет распространена на протяжении перевала от Балты до Коби, на Мамисонском перевале от Зарамага до Они, а на всех прочих перевалах — на пятиверстное в обе стороны от пункта прохождения границы расстояние.

4. Точное проведение государственной границы между обеими договаривающимися сторонами будет произведено особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от обеих сторон. Результаты работы этой комиссии будут закреплены в особом договоре между обеими договаривающимися сторонами.

Статья IV.

1. Россия обязуется признать безусловно входящими в состав Грузинского государства, кроме отходящих к Грузии в силу пункта 1 статьи III настоящего договора частей Черноморской губернии, нижеследующие губернии и области бывшей Российской империи: Тифлисскую, Кутаисскую и Батумскую со всеми уездами и округами, составляющими означенные губернии и области, а также округа Закатальский и Сухумский.

2. Впоследствии, по мере выяснения взаимоотношений между Грузией и другими, кроме России, государственными образованиями, существующими или имеющими создаться и сопредель-

ными с Грузией по другим границам, чем та, которая описана в предшествующей статье III настоящего договора, Россия выражает готовность признать входящими в состав Грузии те или иные части бывшего Кавказского наместничества, которые отойдут к ней на основании заключенных с этими образованиями договоров.

Статья V.

1. Признавая справедливым домогательство России о недопущении отныне на территории Грузии никаких военных операций, пребывания военных сил и прочих действий, могущих создать на территории Грузии условия, угрожающие ее независимости или могущих превратить территорию Грузии в базу для операций, направленных против Российской Социалистической Федеративной Республики или союзных с ней государств, и установленного в ней государственного правопорядка, Грузия обязуется:

1. Немедленно разоружить и интернировать концентрационные лагеря находящиеся на территории Грузии к моменту подписания настоящего договора, буде таковые окажутся, или имеющие впредь перейти в ее пределы военные и военно-морские части, команды и группы, претендующие на роль правительства России или части его, или на роль правительства союзных с Россией государств, а равно представительства и должностные лица, организации и группы, имеющие своей целью низвержение правительства России или союзных с ней государств.

2. Немедленно разоружить и интернировать все находящиеся в портах Грузии суда, входящие в состав военно-морских сил, организаций и групп, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, а равно на том или ином основании состоявших в распоряжении этих организаций и групп и находящиеся в портах Грузии. К экипажу этих судов полностью применяется постановление пункта 1 настоящей статьи.

3. Передать России безвозмездно и не требуя за то никакого вознаграждения все без исключения военное и военно-морское имущество, ценности и денежные суммы, находящиеся во владении, пользовании или распоряжении организаций и групп, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи и согласно пунктов 1 и 2 той же статьи, ныне поступающие в распоряжение Грузии.

Под военным и военно-морским имуществом в смысле настоящего пункта подразумеваются: суда и прочие пловучие средства и все вообще предметы артиллерийского, интендантского (не

исключая пищевого [и] вещевого довольствия), инженерного и авиационного снабжения.

4. Передать России, после их разоружения, части, организации и группы и экипажи судов, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Россия обещает сохранить жизнь всем передаваемым ей, в силу настоящей статьи, лицам.

5. Принять меры к удалению с территории Грузии в тех пределах ее, кои определены статьей 1 настоящего договора, всякого рода войск и военных отрядов, не входящих в состав правительственных войск Грузии.

6. Принять меры к недопущению впредь пребывания на территории Грузии войск и военных отрядов, перечисленных в предшествующем пункте 5 настоящей статьи.

7. Воспретить лицам, принадлежащим к частям, организациям и группам, перечисленным в пунктах 1 и 5 настоящей статьи, поскольку эти лица не являются по своей национальности грузинами, вступать под каким-либо видом, в том числе и в качестве добровольцев, в правительственные войска Грузии.

8. Не допускать впредь образования и пребывания на ее территории в тех пределах, кои установлены статьей 1 настоящего договора, всякого рода организаций и групп, претендующих на роль правительства России или части ее, или на роль правительства союзного с Россией государства, а равно представительства и должностных лиц, организаций и групп, имеющих своей целью низвержение правительства России или союзных с нею государств. Грузия равным образом обязуется не допускать перевозку указанными организациями, группами, представительствами и должностными лицами через территорию Грузии всего того, что может быть использовано для нападения на Россию или на союзные с ней государства, а также воспретить пребывание в своих портах и водах судов и прочих плавучих средств подобных организаций, за исключением установленных международным правом в отношении судов, терпящих бедствие, и пр. случаев.

9. В случае, если бы со стороны организаций, групп, представительства и должностных лиц, перечисленных в предшествующем пункте 8 настоящей статьи, были сделаны попытки нарушения изложенного в означенном пункте 8 воспрещения, с лицами и имуществом, имеющими быть задержанными правительством Грузии в силу принимаемого на себя на основании пункта 8 настоящей статьи обязательства, будет поступлено соответственно обусловленному в пунктах 3 и 4 настоящей статьи.

Статья VI.

Россия обязуется не допускать на своей территории пребывания и деятельности всякого рода групп и организаций, претендующих на роль правительства Грузии или части ее, а также всякого рода групп и организаций, имеющих своей целью низвержение правительства Грузии. Россия обязуется оказать все свое влияние на союзные с ней государства, с целью недопущения на их территории указанных в настоящей статье групп и организаций.

Статья VII.

Для устранения возможных недоразумений обе договаривающиеся стороны согласились в том, что при выполнении пунктов 5 и 6 статьи 1 настоящего договора на тех частях территории Грузии, которые имеют войти в ее состав на основании пункта 2 статьи 1 настоящего договора после разграничения Грузии с другими, кроме России, сопредельными ей странами, необходимые предупредительные со стороны Грузии в подобных случаях меры должны быть закончены в кратчайший срок после принятия ею на себя формального осуществления государственного верховенства на той или другой из этих территорий.

Статья VIII.

Для наблюдения за точным выполнением статей V и VI настоящего договора и для сдачи и приема лиц и имущества, упомянутых в пунктах 3 и 4 означенной статьи V, учреждается смешанная комиссия из представителей обеих сторон, с одинаковым числом членов от каждой из сторон.

Порядок работ комиссии определяется самой комиссией.

Сдача и прием лиц и имущества, упомянутых в пунктах 3 и 4 статьи V настоящего договора, должны быть закончены в двухмесячный со дня подписания настоящего договора срок.

Статья IX.

1. Лица грузинского происхождения, проживающие на территории России и достигшие восемнадцати лет от роду, вправе оптировать грузинское гражданство. Равным образом лица не грузинского происхождения, проживающие на территории Грузии и

достигшие указанного возраста, вправе оптировать российское гражданство.

2. Подробности о порядке выполнения настоящей статьи имеют быть закреплены в особом соглашении между обеими договаривающимися сторонами.

3. Граждане обеих договаривающихся сторон, желающие воспользоваться предоставленным им настоящей статьёй правом, будут обязаны выполнить требуемые от них формальности в течение годового срока со дня вступления в силу упомянутого в предшествующем пункте 2 настоящей статьи соглашения.

Статья X.

Грузия обязуется освободить от наказания и от дальнейшего преследования судебного или административного всех лиц, подвергшихся на территории Грузии таковому преследованию за деяния, совершенные в пользу Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или в пользу Коммунистической партии.

Примечание: Грузия обязуется немедленно освободить лиц, находящихся в тюремном заключении за деяния указанного выше рода.

Статья XI.

Каждая из договаривающихся сторон обязуется признавать и уважать флаг и герб стороны, как эмблемы дружественного государства. Рисунки флага и герба, а равно вносимые в оные изменения, буде таковые последуют, будут взаимно сообщаться дипломатическим путем.

Статья XII.

Экономические отношения между Грузией и Россией определяются временно, впредь до заключения между обеими договаривающимися сторонами торгового договора к чему имеют быть приняты в возможной скорости необходимые меры нижеследующими общими положениями:

1. Обе договаривающиеся стороны в основу своих торговых взаимоотношений кладут принцип наибольшего благоприятствования.

2. Товары, идущие из или по назначению одной из договари-

вающихся сторон, не должны облагаться другой стороной никакими транзитными пошлинами или сборами.

Статья XIII.

Постановления пунктов 1 и 2 предшествующей статьи XII настоящего договора имеют быть положены в основу торгового договора в силу той же статьи XII, имеющего быть заключенным между обеими договаривающимися сторонами.

Статья XIV.

Дипломатические и консульские отношения между Грузией и Россией будут установлены в кратчайший по возможности срок. Впредь до заключения между обеими договаривающимися сторонами особого соглашения о взаимном положении консулов, и чему имеют быть приняты меры, права и обязанности таковых будут определяемы существующими на сей предмет [у] каждой из договаривающихся сторон узаконениями.

Статья XV.

Разрешение вопросов публично-правового и частно-правового характера, возникающих между гражданами обеих договаривающихся сторон, а равно упорядочение некоторых отдельных вопросов между обоими государствами будут производиться особыми смешанными грузинско-русскими комиссиями, учреждаемыми в кратчайший по возможности срок после подписания настоящего договора. Состав, права и обязанности этих комиссий будут установлены особой инструкцией, утверждаемой для каждой комиссии по соглашению обоих договаривающихся сторон.

Ведению этих комиссий будут, между прочим, подлежать:

1) Составление торгового договора и иных соглашений экономического характера.

2) Разрешение вопросов относительно выдела из бывших центральных учреждений архивов и делопроизводства, судебных и административных депозитов и актов гражданского состояния.

3) Определение вопроса о порядке пользования, владения и распоряжения нефтепроводом Батум—Баку в той части его, которая в силу статьи IV настоящего договора будет находиться на территории Грузии. Вопрос этот будет закреплен затем путем особого соглашения между обеими договаривающимися сторонами.

Статья XVI.

Настоящий договор вступает в силу самым фактом и с момента его подписания и не будет подлежать особой ратификации.

В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати.

Учинено в двух экземплярах в Москве, мая 7 дня тысяча девятьсот двадцатого года.

Г. Урагадзе

Л. Карахан

ЦГАОРСС ГССР, ф 13. д. 54. лл. 11 — 14. Копия.



Второй комментарий:

«Москва, Кремль, Ленину, Сталину.

Над Тбилиси реет Красное Знамя. Да здравствует Советская Грузия!

Серго Орджоникидзе».



„Только одна наука радует меня...“

1923, I/VIII. Петербург—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович! О дорожных впечатлениях особо писать не буду. С внешней стороны стало как будто лучше: станции почистились, следы разрушения заглаживаются, поля дали безусловный урожай. Но наряду с этим масса бедноты, всюду полуодетые дети просят хлеба, именно хлеба, но не денег! Одним словом плюс поглощается минусом и получается такое впечатление, что до положительного еще очень далеко. Рога коровьи золотят, а сеном досыта не кормят. Когда я выехал в Петербург и извозчик повез меня по Нев-

В личном архиве академика И. А. Джавахишвили среди множества интереснейших материалов хранятся и письма выдающегося грузинского эллиниста, основоположника советской папирологии, члена-корреспондента Российской Академии наук Григория Филимоновича Церетели. Фрагменты некоторых из них, адресованные К. Магалашвили, за 1928—1936 годы уже публиковались в «Литературной Грузии» (№ 7 за 1988 год).

Предлагаемые ныне письма Г. Церетели к И. Джавахишвили датированы более ранним отрезком времени — с 1923 по 1928 год, когда Георгий Филимонович неоднократно был командирован в Ленинград для изучения и издания греческих папирусов.

Помимо представляющего и сегодня несомненный интерес содержания этих писем, они читаются как прекрасные образцы эпистолярного жанра.

Сохраняем авторскую орфографию топонимов и имен собственных.

Анна БАКРАДЗЕ

скому, сердце у меня сжалось. Мне почудилось, что передо мной гальванизированный труп. Он живет, он движется, но души у него нет: она отлетела. Это сознание было для меня очень тяжелым: меня словно окатили холодной водой! Какие-то новые люди, мне чуждые, шли и двигались, дома смотрели хмуро, по набережной и по линиям зеленела трава, как будто лишняя для города, а в одном месте около университета ходила по улице курица с выводком цыплят. Словом, Петербург надел какую-то странную одежду, смесь провинции с большим городом — Вы понимаете, Петербург, который всегда нравился мне своей аристократической выправкой и холодной выдержанностью. Только одна красавица Нева осталась красавицей, но ее гранитные берега сильно пострадали и по преимуществу испорчена набережная у дворца...

Меня встречали очень тепло и это меня согрело, но общее чувство тоски осталось, мне все время не по себе, словно я одел платье, которое и жмет и давит, не переставая. Да и может ли быть иначе? Где университет? Его в сущности нет. Удалены Кареев, А. И. Введенский, Гревс, Добиаш-Рождественская, Заозерский, Лавров, Д. К. Петров. Прикреплены не к своим курсам: Жебелев (Рим вместо Греции), Платонов¹ (древняя Русь вместо Московской) и т. д. Ряд лиц попал на положение сверхштатных профессоров, т. е. без жалованья. Появились махровые цветы красной профессуры: Тюменев (Греция), Боричевский (философия) и др. Ректор Державин надеется, что скоро «затхлая старина» заменится «новой блестящей новизной». Одним словом всюду начинают пробиваться ростки невежества, наглости и научной дерзости. Настоящие же ученые ходят, как потерянные. Это настоящие morituri², ждущие момента своей смерти! Есть, правда, и такие, что приспособляются, но о подобных типах и говорить не стоит. Вот вам абрис университета! Прав Сережа Жебелев, когда он с горечью сказал мне: «нет нашего университета, он умер». Нетронут пока бывший восточный факультет с его главой Н. Я. Марром³. У Марра я был, и был встречен любезно и отнюдь не агрессивно, но конечно без особого радушия. Я сказал бы, что он остыл, что его пыл недавний пошел на убыль, и даже в разговоре о рукописях он был сдержан, хотя это остается его большим местом. Наш «Моамбе»⁴ ему очень понравился, и он сказал мне даже, что на Рождество приедет в Тифлис. Скажу больше: на мой взгляд, Александра Алексеевна⁵ гораздо ярче, чем сам Н. Я. По крайней мере, с ней мне говорить

было труднее. Она, видимо, стоит на непримиримой точке зрения и я чувствовал все время, что она не прощает мне моей «измены»⁶. Она, видимо, хотела, чтобы я осудил образ действия грузин, но я, конечно, не мог сделать этого, как не мог согласиться и с тем, что русских на Кавказе и особенно в Грузии притесняют. Я доказывал, что это неправда, и что наоборот, тяжело грузинам, которым не дают дышать свободно. Вот вам мои первые впечатления!

Теперь о книгах. Я нашел у сестры ряд великолепных и нужных нам книг. Их я хочу отправить немедленно с Шалвой Амиранашвили⁷, который хотел двигаться в путь завтра. Среди них находится и принадлежащая мне греч[еская] р(укопи)сь IX в., подаренная мне сестрой. Она должна остаться в библиотеке и не быть отдана в Музей, как и папирусы, которые я привезу сам! Среди книг есть «Byzantino» Беляева⁸, «L'Épopée Byzantine» (2 шт) Schumberger-a⁹, Славянская энциклопедия Ягича¹⁰, и т. д. Все эти книги оценивайте сами. Сестра говорит, что ей все равно, «во сколько оценят, пусть так и будет». Пока я мог, конечно, отобрать немного, но я буду продолжать отбор и сверх того искать у букинистов и брать у товарищей и везде, где только можно. Все собранное я отдам Жордании и пусть уж он сам переправляет книги. Деньги будут, конечно, нужны для покупки у букинистов сразу и тогда я сообщу вам, ибо, насколько я пока понял, у Джгушиа¹¹ средства не так уж велики.

Пока, кончаю письмо. От души желаю Вам всего лучшего и крепко жму вашу руку.

Ваш Г. Церетели.

1923 26/VIII. Петербург—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, пока моя жизнь течет благополучно и с некоторым толком. Так я надеюсь почти подготовить к печати первый выпуск папирусов, который ведется мной и моим учеником Крюгером¹². Пишем мы его по-немецки, ибо издаваться папирусы будут в Лейпциге Брокгаузом¹³. Готов вчерне и четвертый выпуск (греч[еские] папирусы арабского периода в частности 710 года), подготовленный под моей редакцией Петей Ернштедтом¹⁴. 10 сентября будут прочтены рефераты о папирусах в обществе любителей греч[еского] языка (Общество возглавляет Ф. И. Успенский)¹⁵. Т. о. с этой стороны я доволен и лишний [раз] благодарю Вас и университет за данную мне возможность работать здесь. С Мар-

ром у меня отношения холодно-официальные. Когда приходится встречаться, он старается быть корректным по отношению к Тифлису, куда хочет приехать, он вечно жалуется на худое отношение к себе со стороны своих учеников, которые даже писем не удосуживаются писать. Наш номер «Моамбе» видимо его раздражил. Он считает, что палимпсесты надо относить к X в. и, «тогда коленкор будет другой». У меня лично такое впечатление, что у него борются две стороны: его и тянет в Грузию и грехи не пускают¹⁶. А вообще странный он человек! Увлечение яфетидологией здесь идет постепенно на убыль. Языковеды, как Петя Ернштедт, относятся скептически, хотя и думают, что зерно истины «может» иметь место. Кое-кто высмеивается. В Германии теория встречена враждебно: требуют фактов! Работа Брауна¹⁷ раскритикована и сослужила ему плохую службу: при избрании его доктором *Honoris causa*¹⁸ ¼ голосов были против! Это знаменательно!! Ростовцев¹⁹ Марра не принял; несмотря на посланные ему два письма, его, когда Марр пришел, «не оказалось дома». Это было в Париже во время научной поездки Марра. Работают здесь много, но печатается лишь маленькая часть: приходится ждать годами. Не хватает денег. Широко идет популярщина. Вообще настоящая наука упрятана в «катакомбы» и это производит тяжелое впечатление. Об университете не пишу: старый университет умер. Теперь порождается новый. Думаю, что как было это в средние века работа научная будет идти помимо университета. Но среди молодежи есть очень талантливые люди, кот[орые] группируются вокруг старой профессуры: новая слишком слаба знаниями.

Среди посланных книг находится 63 книги академических изданий, выданных для меня Шанидзе²⁰. Остальные новые я получил сам. В Академии материальной культуры²¹ мне чаловались, что не раз выдавали свои издания Тифлисскому университету, и в ответ ничего не получали. Скажите И. А., чтобы библиотека прислала два экземпляра наших изданий на Азиатский музей²² (самому музею послано): один я отдам в Академию материальной культуры, из другого уделю кое-что Бенешевичу²³; он же обещает дать свои книги. Вообще надо устроить более широкий обмен, иначе нам ничего посылать не будут. Издания Академии мат[ериальной] культуры были даны для библиотеки университета. Почему же они все туда не поступили, а остались на руках? Надеюсь, что это недоразумение будет улажено. Я лично отобрал кое-какие хорошие книги

у сестры кроме посланных с Шалвой. Будет два ящика. Сюда присоединятся издания Эрмитажа, Археол[огического] общества²⁴, подарки. Все это составит ящика три вместе. Пуд стоит до Тифлиса один миллиард. Будет пудов 10—12. Но у меня не хватит денег для пересылки. Пошлю, если можно, наложенным платежом. А те оставлю упакованными у сестры до более удобного времени, ибо у университета денег наверно нет. С собой могу взять мало, т. к. жизнь здесь очень дорога и я едва сведу концы с концами. В Москву, конечно, не попаду, не хватит денег. До конца командировки останусь в Питере. Московские же папирусы разработают ученики мои. У букинистов много хороших книг, но Du Cange-a и Stephanus-a пока не нашел. Lideil-a и Scott-a²⁵ не дают: было 3 экз[емпляра], один увезен Фасмером. Остальные два должны быть на месте. Я в большом горе: без специального византийского словаря работать немыслимо! Но делать нечего!

Должен, однако, сказать, что с точки зрения выдачи книг для нашего университета здешними учреждениями, дело обстоит хорошо: предупредительность и любезность чрезвычайные. Думаю, что теперь наша библиотека сильно обогатится, но зато как отрицательно отразится это на систематическом каталоге. Ведь сперва придется каталогизировать новые поступления, а их масса. Помимо очередной работы знакомлюсь с новыми книгами немецкими. Есть для меня очень нужные по папирологии, а также по Менандру и по другим вопросам. Так вот и живу, а на Петербург стараюсь не смотреть, для того, кто его раньше не знал, он великолепен, для меня же, кто в нем вырос, он — тень и только. Приятно одно — старые друзья и их отношение, теплое и сердечное. Издалека делаются разные предложения, связанные с возвращением. Рисуетя Академия. На последнюю, конечно, иду, но с условием пребывания в Тифлисе и с приездом в Петербург на время, весной и зимой, на месяц, в итоге на два. Если пойдут на это, тем лучше, если же нет, пусть делают, как хотят, я своего решения не переменю и Тифлис не оставлю. Да, проф. Тарле был бы согласен приезжать к нам месяца на полтора и читать курс у нас общего характера. По-моему это было бы чудесно: он ведь крупная величина и дивный лектор. Если факультет пошел на это, ему можно было бы сделать приглашение. Как вы по этому поводу думаете? Напишите и я дам ему тогда ответ. Ведь у нас новая история слаба...

Всего вам лучшего. Дайте знать, как поступить с книгами

и велите выслать два комплекта наших изданий на Азиатский музей.

Всей душой Ваш Г. Церетели.

1923 13/IX. Петербург—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович! Вчера получил Вашу телеграмму с извещением о высылке денег через госбанк. Большое Вам спасибо! Я хотел выехать 23-го сентября и сделаю это, если до той поры получу письмо с чеком и по чеку деньги. В противном случае придется остаться до 28-го, т. к. поезда идут только по пятницам и воскресеньям (имею ввиду поезда прямого сообщения). У меня здесь набралось еще 3 ящика книг (из них — один — книги от Академии художеств, которые не успел получить Амиранишвили). Еще не знаю как поступлю с ними. Часть возьму с собой в багаж, а другую отправлю, если можно будет сделать это, наложенным платежом, или, если хватит денег, пушу малой скоростью. Работу свою частично закончил, т. е. приготовил первый выпуск папирусов литературных, кот[орый] и будет переправлен в Германию, где корректуру берется держать Вилькен²⁶. Работал много и страшно устал. Но помимо этого работал и в Публичной библиотеке над дорогими моему сердцу греч[ескими] рукописями, и по просьбе Бычкова проверяю и исправляю еще каталог, который они здесь составили для новых приобретений. Не забываю и Эрмитажа. Так[им] обр[азом] дни мои *biens remplis*²⁷ и кое-какие результаты есть. На днях было заседание «Общества любителей греч[еского] яз[ыка] и мои ученики Ернштедт и Крюгер прочли два отличных реферата, чем доставили мне большое удовольствие. Рефераты касались документов птолемеевских, римских и византийских, которые войдут в следующие выпуски нашего *Griechische papugi der russischen Sammlungen*²⁸. Одним словом папирусы сдвинуты с мертвой точки! У Марра я больше не был. Он мне визитом не ответил, и я ходить к нему на поклон, как это здесь принято, не намерен. Да и не влечет меня. До яфетидологии я не дорос, а так нам говорить не о чем. Слушать же вечно жалобы на Тифлис надоело! Моим ответом по поводу Академии все остались недовольны и надулись, но я своего решения не изменю. Единственное, что здесь хорошо, это — масса книг, возможность легко работать и удобство жить в своей квартире, а не в комнатах, как приходится нам в Тифлисе...

Все мои попытки выхлопотать один экземпляр Боннского

издания византийских историков не увенчались успехом. Новые люди отказали наотрез. Не вышло ничего и с Sophocles-ом!²⁹. Вот это очень грустно, так грустно, что и сказать не могу. Хочу попытаться хоть Sophocles-а выхлопотать или просто увезти.

Последнее время стало очень холодно и кроме того постоянно дождит. Всюду грязно, ветрено — хочется солнца. Когда приеду, расскажу про разные детали моего здешнего пребывания, а пока ограничиваюсь написанным. Всего Вам лучшего. Еще раз большое спасибо. Крепко жму Вашу руку.

Искренне Ваш Г. Церетели.

1924 5/VII. Ленинград—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, своим пребыванием в Питере воспользуюсь для папирусов, появления коих на свет с нетерпением ждут мои друзья немцы. Мои ученики сделали много и я думаю, что мы в грязь лицом не ударим: по крайней мере, первый выпуск в рукописном виде производит солидное впечатление. Я уже писал Вам, что хочу издать его литографским путем у нас в Тифлисе, ибо условия Брокгауза слишком тяжелы и сверх того придется ждать год. Заглавие таково: *Papugi russischer Sammlungen herausgegeben von G. Zereteli I. Griech(ische) literarische Texte bearbeitet von G. Zereteli und O. Krüger.*³⁰ Что до посвящения, то оно гласит: *Den ausländischen Collegen gewidmet.*³¹

В открытке я просил Вас провести это через факультет и притом так, чтобы не было задержек, как это было с Италом³². Повторяю мою просьбу и думаю, что издание университета не унизит, но покажет..., что и в Тифлисе умеют читать и издавать греч[еские] папирусы. Сверх того я хочу публиковать и второй выпуск Итала, который в черновом виде у меня готов. Вообще мне хочется, пока я жив, еще сказать несколько своих слов в науке: заграница подняла мою энергию и показала мне, что я еще могу работать. О ней я вспоминаю с радостным и благодарным чувством. Приятно было ощущать, что тебя по-старому считают своим, что с тобой хотят работать и что есть даже люди, как Шубарт³³, который тебя просто любит. Все это в связи с полной свободой, с массой дивных переживаний, с приобщением к культурной жизни, конечно, неизгладимо, и я считаю себя счастливым, что испытал все это. Когда приеду, о многом перескажу Вам подробно и детально, о чем в письме было бы говорить долго.

Здесь встретил обрадованных приездом друзей, милый прием, тяжелую, душную атмосферу, неузнаваемый университет и т. д., т. е. смесь приятного с неприятным при преобладании последнего. Ощущаю полную оторванность от Питера и тяжелое гнетущее чувство, которое ослабляется только сознанием, что я нужен ученикам (у них ведь нет руководителей) и друзьям, не считая родных. Относительно Академии пошла старая канитель: ходят кругом да около, причем все это так нудно, что я решил, если моих условий не примут, отказаться от предлагаемой мне чести, сказав, что я предпочитаю быть профессором в Тифлисе, чем академиком в Питере. Вот уж византийщина в полном смысле этого слова! Да я достану все академические издания, которых у нас нет, добуду некоторые издания Эрмитажа и покойного археологического общества и вышлю все это в Тифлис, но за отправку платить не буду: ящик пойдет наложенным платежом. Если Вам что нужно, дайте знать немедленно, а то выйдет, как это было за границей! Что до сестры, то ее положение не легкое; и мне кажется, что нам следовало бы ускорить уплату: ведь уже год прошел, и мы уплатили всего 25 червонцев из общего количества 112!

От души желаю Вам всего лучшего, крепко жму Вашу руку, шлю привет Георгию Александровичу³⁴ и остаюсь уважающий и любящий Вас

Ваш Г. И.

1924 25/VII, Ленинград — Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, был очень рад получить сегодня Ваше милое письмо и отвечаю на него сразу, не медля. Я с головой ушел в папирусы и занят теперь тем, что навожу глянец на готовый уже первый выпуск. Удалось найти в Эрмитаже еще два хороших папируса, да среди бумаг Бори³⁵ любопытный папирус, очень важный по содержанию. Присоединяю и их. Мои бывшие ученики, а нынешние сотрудники, работают усердно: я очень доволен ими и жалею об одном, что им тяжело живется. Сонечка³⁶ доехала отлично и передала мне все новости, касающиеся основателя яфетидологии: хорошо, нечего сказать! К счастью, я его до сих пор не видел и не хочу видеть. Противно! Надеюсь, что кинутые им стрелы окажутся тупыми. О загранице вспоминаю часто: она меня сильно приободрила и принесла громадную пользу во всех

отношениях. На днях напишу большое письмо, а пока желаю всего лучшего и остаюсь любящий Вас Г. Ц. Поклон Г. А.

1925 3/VIII. Ленинград—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, на сегодня пишу несколько строк, никого еще не видел, и потому новостей нет. Академия делится, красится, приводит себя в порядок. Служащие с ног сбились: хлопот полон рот! Ольденбург почти invisible³⁷, по словам служащих Азиатского музея. О том, было ли нам приглашение наведет справки Петя. На днях начну работать. Пока отдыхаю: почему-то, несмотря на удобства дороги, устал. Всего лучшего. Жму Вашу руку. Поклон Г. А. Напишу ему завтра. Любящий Вас Г. Ц.

1925 15/VIII. Ленинград — Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, жизнь моя в Ленинграде идет по обычному руслу: Эрмитаж, Публ[ичная] библиотека, работа дома, посещение мною друзей, их приход ко мне. Самочувствие хорошее, но усталость не проходит: постоянно такое ощущение словно голову сжимает обруч. Это ужасно противно! Получил билет на академические торжества³⁸ и расписание хода последних. Решил тем не менее не идти: я вообще не люблю фанфар, а тем более слишком шумных. Голова от них болит, и душе они ничего интересного не дают! Думаю, что линия моего поведения правильна. Сообщите свое мнение. А наш университет получил приглашение? Всего лучшего.

Любящий Вас Г. Ц.

1925 22/VIII. Ленинград — Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, «записки» здешнего университета мне удастся получить двух факультетов: ист[орико]-фил[ологического] и восточного, но, к сожалению, далеко не полные: многих номеров нет. Некоторые недостающие номера ист[орико]-фил[ологического] фак[ультета] дополню из книг Лели. Вообще из Лелиных книг я отберу ценные, кот[орые] мы потом оценим в Тифлисе: будет рублей на 300—400. Записки мат[ематического] фак[ультета], возможно, что не дадут: их очень мало осталось. О юридических пока не говорил. Софоклеса словарь и Боннский корпус давать не хотят ни за что. Продолжаю настаивать, но кажется втуне. Вообще с новыми людьми сговариваться трудно! Выйдет книг несколько ящичков и хорошо было бы, если бы вы мне выслали руб-

лей 50 на расходы. С библиотекой Бори ничего не вышло: не дают. На днях напишу больше. Всего лучшего. Любящий Вас Г. Ц.

1925 24/VIII. Ленинград — Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, в субботу я узнал от Желеблева, что на академические торжества ожидается от нас приезд 12 человек. заключаю отсюда, что приглашение в конце концов дошло Тифлиса. Но почему такое *embarras de richesse*³⁹? Ведь даже университет здешний будет представлен всего тремя. Что до меня лично, то я, вероятно, не пойду. Очень не хочется, гл[авным] обр[азом] в силу той американской шумихи, которая поднята вокруг праздника, и еще в силу некоторых причин общего свойства. Но судя по приготовлениям будет нечто импозантное и для многих дело интересное. Относительно же иностранных ученых пока трудно сказать что-нибудь определенное. Говорят и так и сяк, судя по тому, кто говорит. Более сильно, видимо, будет представлен Восток: *Ex Oriente lux!*⁴⁰.

Марра видел раз случайно и не рвусь к повторению встречи: мы встретились в Публ[ичной] библ[иотеке], он хотел что-то сказать, но я поспешил вернуться к своим рукописям, и разговор не состоялся. Не лежит мое сердце к нему! Ольденбурга не видел. Что до «записок» здешняго унив[ерситета], то я уже писал Вам, что будут выданы «Записки» ист[орико]-фил[ологического] и восточного факультетов, причем недостающие (осталось ведь очень мало!), частично дополню из книг Бори и Лели⁴¹, но сделаю так, что данное унив[ерситетом] (оно дано даром) будет запаковано отдельно. У Лели же я отобрал сверх того разныя ценныя книги, кот[орых] у нас нет, рублей на 400. С библиотекой же Бори, что в академии, ничего не вышло: не отдают, а Леля не настаивает. Не вышло ничего и с Боннским корпусом! Ergo, нам придется купить его за границей. Что до меня лично, то я свое дело делаю понемногу, причем Итал у меня кончен, а из папирусов готов выпуск IV, сработанный очень хорошо Эрнштедтом: я весь его проверил, где нужно поправил, и своими учениками очень доволен, — будет совсем хорошо! Выпуск же 11, что в руках Крюге~~ра~~, еще не готов, но сделанное тоже не заставляет желать лучшего. Общй прием здесь сердечный и теплый: не забыли меня и все пеняют, что не хочу вернуться. Но зачем я вернусь, для чего, ради кого и на что? Неужели из-за тени

Академии? Да будь это раньше, когда была не тень, а действительность, да и то не стоило. А теперь тем паче! В силу всего этого еще раз повторил все, что говорил, и попросил поставить точку над вопросом. Самое же противное во всем этом, это способ действия: не прямо, а кругом да около. Чистое византийство: недаром Ф. И. Успенский действует!...

Как сами видите, интересного сообщить много не могу: все как-то серо и буднично и скучно. Общее впечатление такое, как будто лежит туман и подниматься вверх не хочет. Вообще, не будь здесь работы и несколько близких мне лиц, я не стал бы приезжать в Ленинград! Больно уж томительно, несмотря на все оказываемые ласки. Думаю, что отчасти все эти думы и ощущения диктуются и наступающей старостью: все как-то неинтересно, мелко и пошло кажется. Только одна наука и радует меня теперь. Все же прочее — ненужные побрякушки!

Да, Иван Александрович, было бы хорошо, если бы Вы прислали мне рублей 50 на покрытие расходов по книгам: будут несколько ящичков и я боюсь, что мне моих личных денег не хватит, — у меня ведь их не много.

Всего Вам лучшего. Поклон Георгию Александровичу. Пишите, буду рад получить весточку. Любящий Вас Г. Ц.

1925 25/VIII. Ленинград—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, получил сегодня Вашу открытку от 20-го и узнал из нее как обстоит дело с приглашением нашего университета на празднество. Сообщенные Вами сведения только укрепили меня в моем решении не идти на празднества. Раз оскорблен университет, к кот[орому] я принадлежу, значит и для меня не может быть места в учреждении, его оскорбившем. Не понимаю одного, для чего было делать подобную штуку. От души желаю всего лучшего. Любящий Вас Г. Церетели.

1925 29/VIII. Ленинград—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, наконец-то покончил со вторым выпуском Итала: текст установлен, критический аппарат готов, testimonia⁴² собраны, — словом дело в шляпе. Готов вполне у Ернштедта и 4-ый выпуск папирусов. Значит две работы приведены ad desiderabilem finem⁴³.

Относительно торжеств интересуюсь мало. Фанфары гремят во всю. Рекламы действуют crescendo. Сам С. Ф.⁴⁴ пози-

рует неутомимо и языком и в изображениях. На папирусы появилась рецензия в итальянском журн[але] «Aegyptus»: хвалят. Всего лучшего. Ваш Г. Ц.

Привет Г. А. Почему он не пишет?

1927 17/XI. Ленинград—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, на сегодня пишу мало, — только весточку о себе подаю. Работаю много, о работе лишь и думаю, нигде пока в гостях не был: времени жаль, да к тому же вижу всех в Эрмитаже, в Академии, в университете, когда там работаю. С Петей и Крюгером полная entente cordiale⁴⁵. Но порою трудно бывает: папирусы упрямятся, комментарии порой не удаются, выходит иногда не так, как хочется. Тогда нервничаю, сержусь на себя и на соразработчиков, точно они виноваты. Так вот и проходят дни за днями. У нас зима полная с небольшими морозами: больше 4° не было. В доме у моих хорошо: тепло, идеально тихо, только работай. Крепко жму Вашу руку, кланяюсь Г. А. и Вашим. Любящий Вас Ваш Г. Церетели.

1927 6/XII. Ленинград—Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, работа моя по-маленьку подвигается и в общем я нахожу, что достигнутые пока результаты удовлетворительны. Пока обработано из 60 папирусов 20 с небольшим, причем по большей части мы работаем вместе с Петей. Крюгер же завершает свой выпуск, наводя последний глянец. Если так пойдет дальше, четвертый, т. е. по порядку третий выпуск будет к концу января готов. Останется лакировка и разного рода мелочи, и оба выпуска, второй и третий, выйдут почти одновременно. Вот когда эта минута наступит, тогда я скажу: «ныне отпускаеши», ибо 5 выпуск, если бы и случилось что-либо со мной, вполне может быть сделан и без меня: в нем Ostraka⁴⁶ (частью мною изданные, частью готовые к изданию), деревянные таблички (копии мои Крюгера), надписи (копии мои и Крюгера) и ряд папирусов второстепенного содержания (часть их еще не готова). Одним словом, дела на мази!

Петя и Крюгер работают превосходно, с подъемом и с энергией, причем немецкий яз[ык] выглаживается Петей, ибо он пишет изящнее, чем Крюгер. Они оба и то говорят, что у нас настоящая лаборатория, где вместо колбочек — папирусы. Да, все идет гладко, и я доволен. Недоволен только я

одним: на завтра назначено особое заседание в мою честь в Музее изящных искусств в университете, где будут прочтены три реферата на темы папирологии и, вероятно, будут говорить-ся разные жалкие слова, чего я не люблю и на что никогда не умею отвечать. И все это вышло как-то неожиданно, так что я не успел отказаться от чествования, а должен был примириться с *Fait accompli*⁴⁷.

В университете здесь неважно: ряд профессоров удален (Жебелев, Платонов и др.), часть сделана сверхштатными (Кокорцев⁴⁸, Крачковский,⁴⁹ Петя Ернштедт), часть переведена на особое положение: могут, если хотят читать *gratis*⁵⁰ (Крюгер, Фармаковский⁵¹ и др.). Жалуются на тяжесть и восточники. У них снова введен институт лекторов, ну а профессора, по их же выражению, на положении «поддужных». Хорошо живет-ся физикам, математикам и химикам. В Академии делается что-то странное. Впечатление такое, как-будто Академия стоит на перепутьи: влево пойдешь, шею сломаешь, вправо — костей не соберешь, а прямо идти Академия разучилась. Кого я видел, те в панике, а тут еще слухи о возможном сокращении по канцелярии и библиотеке и разным кабинетам, ибо по случаю юбилея Академия очень раздула свои штаты. Пред-стоят перевыборы и в Академии материальной культуры, ибо и там слишком много народа околачивается. Ну, а известно, что *Zu viel Gerichte — Ursache mancher Geschichte*⁵².

Вообще, что-то ожидается и во что все отольется, сказать пока трудно! Я лично думаю, что Академию ждет судьба университета и коренная перестройка. Не потому ли и Ольденбург отказался от звания неперменного секретаря? Крысы обыкновенно покидают корабль перед его гибелью!

Всего Вам лучшего, дорогой Иван Александрович, от души желаю здоровья, энергии, успехов в работе. Поклон Вашим. Дружески жму Вашу руку. Любящий Вас Г. Церетели.

А как плывет наш университетский корабль: ведь у него ни руля, ни ветрил?

1928 25/I. Ленинград — Тифлис.

Дорогой Иван Александрович. Спасибо за письмо Ваше, полученное мною на днях. Мне было очень приятно и получить его и читать: оно заменило разговоры с Вами, которые я очень люблю. Радуюсь успехами Чубинова⁵³: они важны для нашего университета и являются хорошим подарком к его десятилет-ию. Это гораздо лучше, чем официальный десятилетний юби-

лей с обычными для таких случаев речами, фанфарами, глупой шумихой и неизбежным банкетом. Жаль только, что достижения чисто научные не имеют значения для нашего начальства, оно лишнего рубля не дает на них и для них, а на пеструю шумиху истратит тысячи. *So ist der Lauf der Welt*⁵⁴.

...Вообще неразбериха полная, а над всей этой мышьиной беготней веет грозная тень грядущих сокращений, чего многие боятся. Пострадают, конечно, стрелочники, но не тузы, пострададут те, кому и так есть нечего. И когда смотришь на все это и слышишь про то, что делается, на душе становится остро-тоскливо и начинаешь жалеть, что нет Фиванды⁵⁵, где спасались святые отшельники. Теперь такое время, что будь даже простой улиткой, и те враги найдутся. Но самое обидное это то, что-то гадкое, что творится, творится «солью земли», т. е. самими учеными. Ну, какое же уважение может быть к этим людям со стороны правительства? И вот уходишь в себя и в свои книги (по крайней мере, они не изменяют)... А мои друзья (Лихачев⁵⁶, Жебелев и др.) еще упрекают меня, что я сторонюсь и не делаю так, чтобы быть на виду, — «надо, чтобы вас видели». Почему надо? Я вовсе не хочу этого, мне это противно. А они говорят: «Странный вы человек». Ну, и пусть странный! Цель, которую я поставил себе, уезжая в командировку, мной достигнута: все 3 выпуска (60 папирусов) мной и Петей Ернштедтом обработаны вчерне, — с осени можно будет печатать. А сейчас, когда вернусь, буду печатать 2 выпуск, обработанный Крюгером. Вывожу в свет второго ученика! Вообще я сейчас на отлете и только жду денег от правления, которое, однако медлит: своих мне не хватит — дорога жизнь.

От души желаю Вам всего лучшего. Кланяюсь всем Вашим. До скорого свидания! Любящий и уважающий Вас Ваш Г. Церетели.

1928 29/VII. Ленинград — Тифлис.

Дорогой Иван Александрович, что сказать Вам по поводу моего возмутительно долгого молчания? Никаких смягчающих вину обстоятельств у меня нет, и я просто сознаюсь, что виноват, в надежде, что повинную голову и меч не сечет. Не думайте только, что я забыл Вас, — молчание не всегда знак забвения! Просто откладывал со дня на день, ожидая, что накопится что-нибудь интересное. Ну, а интересное не приходило, дни же уходили, и в результате Вы не получили от меня ни строчки. Ах, как не хорошо!

Мы тут до последних дней не выходили из полосы дождей. Не лето, а какая-то преждевременная осень! Слякотно, холодно, сыро. Только вчера и сегодня солнцу словно стыдно стало и оно, разогнав тучи, начало светить и греть. На долго ли? Обсерватория не надеется! Однако, несмотря на хмурое небо, настроение у меня не хмурое, а какое-то равнодушно-спокойное, и за неимением ничего другого я наслаждаюсь идеальной тишиной нашей квартиры, ее уютом и тем, что меня не шпыняют и не колят булавками, как за последнее время в Тифлисе. Как мало иногда человеку надо! Папирусы мои находятся в хорошем состоянии, и я с Ернштедтом занят теперь полировкой написанного, дабы одновременно с завершением 2 выпуска начать печатание нашего 3-го. Хочу на неделю съездить в Москву для разрешения ряда недоуменных мест, с которыми Петя не справился. Справлюсь ли я, не знаю, но для очистки совести это надо сделать, а то как-то неловко будет. Помимо папирусов делаю мало: почитываю только кое-какие интересные книги, а иногда просто лежу и думаю, благо диваны у нас мягкие, настоящие «самосоны». В гости хожу редко, тем более, что почти все друзья в отъезде. Даже и ходить не к кому! Только у Жебелева я бываю. Здесь те, кого я видел, возмущены, что университет наш не выставил меня кандидатом. Я объяснил причину, но мои объяснения, видимо, не удовлетворили спрашивавших. «Ну, пусть не университет, как целое! Кроме бюро секции могла быть группа ученых! Где она и почему она отсутствует? Где научные общества?» Вообще здесь недоумевают, забывая, что у каждого города свой нрав и у каждого монастыря свой устав! Сказать определенно, пройдет ли моя кандидатура, конечно нельзя. Все зависит от ряда случайностей, а их немало, и зависят они не от Академии. Могу сказать только, что будущие выборы будут похожи на лотерею, устроенную в семье, где выигрывают не гости, а хозяева, и лишь для соблюдения приличия и на долю гостей выпадает удача. Вот если я буду таким гостем, любимцем Тух⁵⁷, то меня выберут. На меня же лично список кандидатов произвел странное впечатление: чем меньше у кого работ, тем больше рекомендаций! Мудрый Эдип, разреши! Ну как же не сказать «есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось и мудрецам!» Да, век живи, век учись, а все равно ничего не поймешь или руками от удивления разведешь!

Впрочем к чему гадать и предполагать? Придет время и

все выяснится, а пока будем ждать. Ждать не придется долго. Вся начатая канитель окончится только в декабре! Думаю, что за это время некоторые слишком дряхлые кандидаты (таких тоже немало) успеют умереть раньше ожидаемого академического бессмертия. Разговоров вообще идет много, но интересного в них мало: так, досужих умов досужие соображения, а потому, говоря словами Тургенева, «мимо, читатель, мимо».

Приехал сюда Гоги Церетели⁵⁸. С книгами, с их получением из Азиатского музея, я его устроил. На днях познакомлю с Коковцевым, а на житие устрою с момента своего отъезда отсюда в нашей квартире, благо мои родственники, семья Софьи Ивановны, ничего против этого не имеют. Для него это будет хорошо, так как найти сейчас комнату очень трудно (дешевле 30 с лишком рублей не достать). Ему за помещение у нас надо будет вносить ежемесячно 15 рублей, что дешевле дешевого ввиду вводимой с октября новой квартирной расценки. Надеюсь, что это его устроит, ибо с деньгами у него не густо, мне же хочется ему помочь, т. к. он юноша талантливый и из него может выйти толк. А как Ваше здоровье, Ваше самочувствие? Не зная, где Вы, пишу на университет в надежде, что Г. А. (ему низко кланяюсь и скоро напишу) возьмет и передаст или перешлет его Вам.

От души желаю Вам всего, всего лучшего. Поклон Вашим. Любящий и глубоко Вас уважающий Ваш Г. Церетели.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1928 года, почетный член Академии наук СССР; Введенский Александр Иванович (1856—1925) — философ, профессор; Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк, профессор; Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874—1939) — историк, член-корреспондент Академии наук СССР; Заозерский Александр Иванович (1874—1941) — историк, профессор; Лавров Петр Алексеевич (1856—1929) — славист, академик; Петров Дмитрий Константинович (1872—1925) — филолог, профессор; Жебелев Сергей Александрович (Сережа, С. Ж., 1867—1941) — крупнейший советский историк, академик; Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, академик. Все — профессора Ленинградского университета.

2 *Morituri* (лат.) — обреченные на смерть.

3 Марр Николай Яковлевич (М) (1864—1934) — академик, лингвист, востоковед.

4 «Моамбе» — ежегодный журнал Тбилисского университета, издававшийся в 1919—1930 годах.

5 Александра Алексеевна — супруга Н. Я. Марра.

6 Подразумевается переезд Г. Ф. Церетели в Тифлис.

7 Амиранашвили Шалва Ясонович (Шалва, 1899—1975) — грузинский ученый, искусствовед, академик Академии наук Грузинской ССР.

8 Беляев Дмитрий Федорович (1846—1901) — историк, византист, филолог, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

9 Schlumberger G. — (Шлумбергер Г.) — французский ученый XIX века, византист.

10 Ягич Ватрослав Викентьевич (1839—1923) — по национальности хорват, славист, академик Петербургской Академии наук.

11 Джгушиа Дамаи: (умер в 1968 году) — представитель академического делопроизводства Грузинской ССР в РСФСР.

12 Крюгер Отто — папиролог, ученик Г. Ф. Церетели.

13 Брокгауз — немецкое книгоиздательство или издательская лейпцигская фирма, купленная в 1808 году книготорговцем Ф. Брокгаузом.

14 Ернштедт Петр Викторович (Петя, 1890—1966) — советский ученый, специалист в области греческого, коптского и хеттских языков, профессор.

15 Успенский Федор Иванович (1845—1928) — историк, византист, академик.

16 Речь идет об отношении Н. Я. Марра к основанию Тбилисского университета.

17. Браун Эдуард (1862—1926) — английский востоковед.

18 Honoris causa (лат.) — правило присвоения ученой степени доктора без защиты диссертации.

19 Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952) — историк, археолог, профессор, эмигрировал в 1917 году в США.

20 Шанидзе Акакий Гаврилович (1887—1987) — лингвист, один из основателей Тбилисского университета, академик Академии наук Грузинской ССР.

21 Академия материальной культуры — Российская, в дальнейшем государственная (ГАИМК), научный организационный центр археологической науки в РСФСР, существовавший с 1919 по 1937

год. С 1937 года преобразована в Институт истории материальной культуры имени Марра.

22 Азиатский музей — находящееся в Ленинграде собрание рукописей на различных восточных языках и библиотека печатных книг по востоковедению на европейских языках. Возник в 1818 году. В 1930 году с рядом других востоковедческих учреждений вошел в организованный на их базе Институт востоковедения Академии наук СССР.

23 Бенешевич Владимир Николаевич (1874—1943) — археограф и историк, член-корреспондент Российской академии наук, член Страсбургской и Берлинской академий.

24 В России Археологическое общество было основано в 1804 году. Его целью было изучение и охрана археологических памятников.

25 Иностранные лексикологи XIX века. Stephanus — автор географического словаря VI века н. э.

26 Вилькен Ульрих (1862—1944) — немецкий историк античности, один из основоположников греческой папирологии.

27 Biens remplis (франц.) — загружены.

28 См. примечание 30.

29 Sophocles E. A. — автор греческого словаря 1887 г.

30. Papyri russischer Sammlungen herausgegeben von G. Zereteli I. Griech(ische) literarische Texte bearbeitet von G. Zereteli und O. Krüger (немец.) — Собрание греческих папирусов, изданных Г. Церетели I. Греческие литературные тексты, обработанные Г. Церетели и О. Крюгером.

31. Den ausländischen Collegen gewidmet (немец.) — посвящается иностранным коллегам.

32 Итал Иоан — византийский философ конца XI века.

33 Шубарт Вильгельм — немецкий ученый, палеограф, папиролог.

34 Джавахишвили Георгий Александрович (1877—1956) — грузинский антрополог, профессор, брат И. А. Джавахишвили.

35 Тураев Борис Александрович (1868—1920) — академик, историк древнего Востока.

36 Церетели Софья Ивановна — урожденная Максимова, супруга Г. Ф. Церетели.

37 invisible (франц.) — невидим.

38 Имеются в виду торжества, посвященные 200-летию Академии наук, основанной в 1724 году.

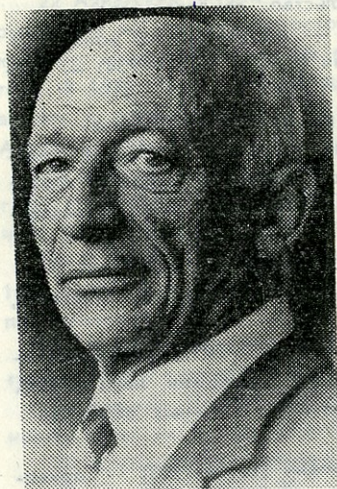
39 Embarras de richesse (франц.) — излишество.

40 Ex Oriente lux (лат.) — сияние с Востока.

- 41 Леля — Елена Филимоновна Церетели, сестра Г. Ф. Церетели, супруга Б. Тураева.
- 42 Testimonia (лат.) — доказательство, свидетельство.
- 43 Ad desiderabilem finem (лат.) — до желанного конца.
- 44 Ольденбург Сергей Федорович (С. Ф.; 1863—1934) — востоковед, академик.
- 45 Entente cordiale (франц.) — сердечное понимание.
- 46 Ostraka (греч.) — деревянные таблички, которыми пользовались при голосовании в народном собрании древних Афин; применялись при решении вопроса об изгнании лиц, признаваемых опасными для государства.
- 47 Fait accompli (франц.) — свершившийся факт.
- 48 Коковцев Павел Константинович (1861—1942) — лингвист, академик.
- 49 Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951) — основоположник советской арабистики, академик Академии наук СССР, член-корреспондент иностранных академий и научных обществ.
- 50 Gratis (лат.) — даром.
- 51 Фармаковский Борис Владимирович (1870—1928) — археолог античности, член-корреспондент Академии наук.
- 52 Zu viel Gerichte—Ursache mancher Geschichte. (немец.)—слишком много еды причина всяких происшествий.
- 53 Чубинашвили Георгий Николаевич (1885—1973) — грузинский ученый, искусствовед, академик АН Грузинской ССР.
- 54 So ist der Lauf der Welt (немец.) — так обычно бывает в жизни.
- 55 Фиванда — пустыня, куда спасались монахи — госледователи первого отшельника этой пустыни, св. Антония.
- 56 Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — историк, искусствовед, академик Академии наук СССР.
- 57 Τηχη (греч.) — судьба.
- 58 Церетели Гоги — Церетели Георгий Васильевич (1904—1973), известный грузинский востоковед, академик Академии наук Грузинской ССР, основоположник грузинской востоковедческой школы.



Памяти друга



Ушел из жизни Михаил Юрьевич Лохвицкий (Аджук-Гирей).. Ушел внезапно. Не прошло и нескольких дней, как он сидел у нас в редакции, делился своими творческими планами, обещал принести новый, интересный материал, но... быть может, впервые не выполнил своего обещания... Говорят, внезапная смерть — хорошая смерть, но от этого не легче нам, его друзьям, близким, почитателям его таланта.

Он прожил недолгую, но интересную жизнь. Родился в 1922, под Ленинградом, в г. Пушкин, закончил школу в 1940 в Тбилиси и вскоре, почти мальчишкой, ушел на Великую Отечественную... Морской пехотинец, вернулся со многими боевыми наградами. Окончил Тбилисский университет в 1952.. В разное время работал в газете «Молодой сталинец», в издательствах «Заря Востока», «Мерани», на киностудии «Грузия-фильм», был редактором отдела нашего журнала...

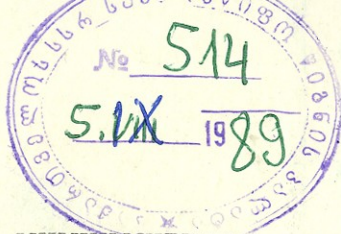
Михаил Лохвицкий — автор более двадцати книг, его романы «Громовой гул», «Выстрел в Метехи», «С солнцем в крови», «Неизвестный», сборники его рассказов переведены на грузинский, армянский, чешский, венгерский, польский, арабский языки...

Славный сын черкесского народа, писавший на русском языке, Михаил Лохвицкий был членом Союза писателей Грузии, прекрасно владел грузинским языком, переводил произведения грузинских авторов. В творчестве его переплетаются грузинская и черкесская тематика, звучит глубокая боль за свой народ, историю и современность которого он прекрасно знал, как и историю и современность Грузии, ставшей для него второй родиной.

Писатель и гражданин, он всегда ощущал свою животворную связь с природой, болел за нее, как и за «братьев наших меньших», понимая всю важность нравственно-экологических проблем для современного человечества.

...Трудно примириться с мыслью, что нет больше среди нас Миши, чуткого товарища, надежного друга, талантливого писателя...

Коллектив редакции.
«Литературная Грузия»



Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИВИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), **Михаил ЛОХВИЦКИЙ**, Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили
Корректор Т. Бадриашвили

Сдано в набор 07.07.89 г. Подписано к печати 14.08.89 г. УЭ 09425. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 6.250. Заказ 1638. Цена 65 коп.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.
Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 კ.

26-83

89-514

ИНДЕКС 76117

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურნაია ვრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

